

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 1003-1052, 2016
Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

Do Russians Need Cliotherapy?

Boris N. Mironov^{a, b, *}

^a Saint Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

^b Saint Petersburg State University, Russian Federation

Abstract

The author gives detailed answers to the comments made by all eighteen round table participants in the course of the discussions that unfolded around his book “The Russian Empire: From Tradition to Modernity”. A fundamental debate on many of the issues raised in the book is conducted in the article. Among them: methodology and technique, in particular, the use of a variety of research strategies, the application of comparative historical approach, interdisciplinarity, macro- and micro-analysis, the search for patterns, the role of concepts, and the relationship between empirical and analytical aspects in the study. Much attention is paid to the controversial aspects of ethnoconfessional policies, mentalité and historical psychology, the unresolved issues of serfdom and colonization, cultural capital and educational policies, as well as self-government and civil society. The discussion concerning the specifics of Russian modernization and the issue of myth making occupies an important place in the article, as does historical optimism and cliotherapy.

Keywords: civil society; historical psychology; cliotherapy; colonization; serfdom; cultural capital; mentalité; methodology and techniques; myth making; historical optimism; enlightened absolutism; the Russian empire; self-government; the specifics of Russian modernization; ethnoconfessional policy.

This research was supported by grant N 15-18-00119 from Russian Science Foundation.

Ведь это очень вредно – не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь.
Ведь так и заболеть можно (*Золушка*).
Как сладки критические замечания, исходящие из дружеских уст;
от них становится грустно, но они не причиняют боли (*Оноре де Бальзак*).

Начну с объяснения, почему книга посвящена студентам. Это сделано в знак благодарности за творческие стимулы, которые они дают мне своими вопросами, любознательностью и требовательностью. Молодость всегда права и потому всегда побеждает. Само нахождение в атмосфере даже не слишком продвинутых юных студентов повышает тонус, настроение, умственные и эмоциональные способности.

Аналогичным образом действует на меня и критика. Поэтому я с большим интересом познакомился с выступлениями участников круглого стола и попытаюсь ответить на все их замечания.

* Corresponding author

E-mail addresses: bmironov@mail.wplus.net (B.N. Mironov)

Ответ В. Г. Хоросу

Мне понравился анализ книги, сделанный В.Г. Хоросом, за свою объективность, принципиальность, академичность и глубокую вовлеченность в поиски адекватного объяснения извилистого пути российской истории. Считаю своим большим достижением, что он согласился с принципиальной идеей книги: «В истории имперской России XVIII – начала XX в. не было перманентного кризиса и обеднения трудящегося населения. Революции начала XX в. надо объяснять иными причинами. Этот тезис является несомненной заслугой историка».

Вместе с тем критик высказал ряд интересных замечаний. Мой исторический оптимизм, на его взгляд, «выглядит чрезмерным». Я преувеличил эффективность внутренней политики самодержавия в целом и «креативность» российского чиновничества; «переоценил степень политической демократизации в России в начале XX в.» и уровень развития самоуправления; недооценил те социальные и культурные проблемы российского общества, которые стимулировали революционные настроения; наконец, мои статистические выкладки, создающие у читателя впечатление перманентного роста основных экономических и социальных показателей, у других исследователей «выглядят иначе». Чтобы можно было говорить о том, что я что-то переоценил или недооценил, нужно знать, как в действительности было, представлять норму, стандарт, действительное значение явлений, процессов, о которых идет речь. Кто может сказать, что он все это знает?! На чем тогда основываются сомнения В.Г. Хороса? Не на фактах и расчетах, а главным образом на господствующих в литературе представлениях, на стереотипах, которые почти 100 лет создавались народнической, либеральной и марксистской историографией.

Предполагаю, что мои данные показались критику преувеличивающими достижения страны на фоне того негативного образа имперской России, который преобладал в советской историографии, когда она изображалась почти исключительно в черных красках: загнивала, разлагалась – «стена, да гнилая: ткни и развалится» (В.И. Ленин), народ бедствовал, бюрократия отличалась некомпетентностью, а правящий класс – алчностью и классовым эгоизмом. Но, как известно, большое видится на расстоянии. Давайте посмотрим на историю России периода империи с высоты орлиного полета.

Если в истории имперской России XVIII – начала XX в. «не было перманентного кризиса и обеднения трудящегося населения», как соглашается дискуссант, то разве это не огромное достижение верховной власти и ее правительства. А превратить бедную финансовым и культурным капиталом страну (в конце XVII в. 98 % населения были неграмотными, в 1797 г. – 96 %, а в 1897 г. – 76 %) (Миронов, 2015b: 488) в великую мировую державу в XVIII в. и удержать этот статус до 1914 г. – разве это не показатель креативности бюрократии и правящего класса?

С точки зрения политической демократизации после 1905 г. Россия находилась на средневропейском уровне. Она вошла в круг правовых государств: конституция и парламент, разделение властей и независимый суд стали неотъемлемыми институтами русской политической жизни, а правомерность управления – характерным качеством исполнительной власти. В современной зарубежной и отечественной историографии оценка Основных законов 1906 г. как настоящей конституции, а законодательных учреждений как настоящего парламента получила широкое признание.

Трехтомник содержит две большие главы общим объемом 512 страниц: «Община и самоуправление как доминирующие формы организации социальной жизни» (Миронов, 2015a: 133–344) и «Государственность и государство» (Миронов, 2015a: 345–646), где обстоятельно и подробно показано, что в течение всего периода империи жизнью населения на поселенческом уровне (города, посады, села и деревни), за исключением столиц и нескольких крупных городов, управляли органы сословного самоуправления на принципах демократии, руками и головами самого управляемого населения при самом поверхностном руководстве со стороны коронной бюрократии. У государства не было достаточно сильного бюрократического аппарата не только для того, чтобы взять непосредственно в свои руки управление повседневной жизнью людей, но даже для того, чтобы серьезно контролировать деятельность органов самоуправления. В 1646 г. в России насчитывалось всего лишь 1640 чиновников, при Петре I – 4550, в конце царствования Николая I – 122 тыс. – на 74 млн населения, проживавшего на территории в 20 млн км²!!! В 1914 г. число чиновников выросло в 2 раза – до 242 тыс., но и население выросло в 2,2 раза – до 166 млн. В 1646 г. на одного чиновника приходилось 4,3 тыс. жителей, в 1726 г. – 3,6 тыс., в 1857 г. – 603, в 1914 г.

– 684, в современной России, в 2010 г., – 142 (Миронов, 2015а: 431, 440). Как могла столь малочисленная бюрократия вмешиваться во все сферы повседневной жизни простых людей?!

По числу чиновников Россия постоянно отставала от западноевропейских стран. Самая бюрократическая, как считается, страна Европы, Франция, превосходила России по числу чиновников на 1000 жителей в середине XVII в. в 11 раз, 1800-е гг. – в 5 раз, в 1850-е гг. – в 4,8 раза, в 1910-е гг. – в 7,3 раза, в 2010 г. – лишь в 1,4 раза. По этому показателю в 1910-е гг. Россия уступала Великобритании в 5,4 раза, Германии – в 4 раза, Австро-Венгрии – в 3,3 раза. Как выразился Д.И. Менделеев, страна «недоуправлялась». По величине административного ресурса, по степени бюрократического присутствия в повседневной жизни населения Московскую Русь и имперскую Россию можно отнести к *минималистскому государству*. А для критика мой вывод о том, что в течение многих столетий самоуправление, основанное на настоящей демократии, являлось стержнем нашей повседневной жизни, «звучит, мягко говоря, странно». Не знаю, какие более значимые аргументы нужно привести, чтобы его переубедить.

Главная причина расхождений в статистических выкладках моих и других исследователей состоит в том, что в большинстве случаев историки используют единичные данные, которые выдаются за типичные, а я – массовые данные, которые действительно говорят о типичном. Во всех подобных случаях расхождения объясняются подменой типичного единичным и общего случайным. Однако наука давно открыла закон больших чисел, который утверждает: количественные закономерности, присущие *массовым общественным явлениям*, отчетливо проявляются лишь в достаточно большом числе наблюдений, так как закономерность проявляется и обнаруживается при массовых наблюдениях, а в единичных случаях (в отдельные годы, в отдельных приходах, селениях, семьях и т. п.) она может нарушаться и потому не обнаруживаться.

По мнению В.Г. Хороса, я преувеличил роль интеллигенции как субъекта революции, дал ей чрезмерно негативные характеристики и вместе с тем недооценил протестный импульс снизу, народный характер русской революции 1917 г. Мое изучение народных движений и работ исторических социологов и психологов привело меня к убеждению, что неграмотные и полутрамотные люди могут быть активными участниками, устроить бунт, но не могут организовать настоящую революцию – они нуждаются в руководстве сверху, в буквальном и переносном смысле. В «Российской империи...» этому вопросу посвящен большой подраздел «Психологические, социальные и политические последствия низкой грамотности» (Миронов, 2015b: 501–536). Оценивая роль стихийного протеста в революции 1917 г., я сделал вывод: «С точки зрения механизма революционного процесса в русской революции 1917 г. стихийность сочеталась с организацией». Это говорит о том, что я признаю важную роль народа в революционном движении (Миронов, 2012: 659).

Что касается негативных характеристик интеллигенции. У меня и в мыслях нет отрицать огромный вклад русской интеллигенции в культуру России и в революционное движение. Но мне кажется, что дискуссант идеализирует интеллигенцию. Я нахожусь под большим впечатлением и влиянием двух книг: «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (1909) и «Из глубины. Сборник статей о русской революции» (1918). Разделяю основные идеи авторов этих сборников, написанных известными русскими интеллигентами и интеллектуалами о самих себе, потому что мой исследовательский опыт это подтверждает.

По мнению В.Г. Хороса: «Несмотря на ряд интересных соображений о процессе модернизации в России, Миронов отождествляет российскую модернизацию с вестернизацией (“европеизацией”). Но сам же Миронов правомерно показывает различие европейских и российских цивилизационных ценностей. Их несоответствие и послужило одной из причин российской революции». Я вижу сходство между российской модернизацией и вестернизацией только в том смысле, что в России процесс модернизации подчинялся универсальным закономерностям и принципиально осуществлялся по одним и тем же механизмам, как и в других европейских странах. Отмечая общее, я постоянно отмечаю и своеобразные черты российской модернизации, чему посвящен большой подраздел «Россия и Европа: общее и особенное» (Миронов, 2015b: 603–648). Но эта специфика, на мой взгляд, не дает оснований для заключения, что Россия является особой цивилизацией и развивалась особым русским путем. Россия, западноевропейские и вообще все европейские страны развиваются по *близким, но не тождественным (!) траекториям*.

Вместе с тем допускаю, что я недооценил национальные особенности имперской модернизации, во всяком случае не уделил этому вопросу необходимого внимания. Проблема действительно нуждается в более обстоятельном анализе на основе сравнительно-исторических исследований.

Признаюсь, что с большой долей скептицизма отношусь к цивилизационному подходу. Его главный недостаток – в антиисторизме. По определению локальной цивилизации фундаментальные институты, выступающие в качестве ядра цивилизаций, неизменны. Но это возможно только в том случае, если они каким-то образом генетически закреплены в геноме представителей данной цивилизации. До сих пор наука подобного явления не обнаружила, и все рассуждения на этот счет вплоть до утверждения, что история предков записана в ДНК человека, а мозг людей хранит информацию (информацию в буквальном смысле) прошлых эпох с момента появления человека разумного, носят спекулятивный характер. Факты говорят о том, что передача культуры от поколения к поколению происходит исключительно в ходе социализации – процессе усвоения индивидом «правил игр», принятых в данном обществе, социально одобряемых норм, ценностей, моделей поведения, которые генетически не закрепляются. Следовательно, и элементы культуры могут передаваться от поколения к поколению только в результате социализации и, значит, могут со временем, при изменении условий существования носителей культуры данной цивилизации, вытесняться или трансформироваться в другие.

Ответ Л. Н. Мазур

В статье обстоятельно подвергнуты анализу методологические подходы моей работы. Критик сравнивает аналитическое историческое исследование (на моем примере) с эмпирическим, находит между ними различия, оценивает плюсы и минусы того и другого. По аналогии с социальными науками можно сказать, что эмпирическое исследование выполняется по описательной, или дескриптивной, стратегии, а аналитическое – по аналитико-экспериментальной стратегии (Ядов, 2003).

По мнению Л.Н. Мазур, различия между двумя типами исследования начинаются с использования источников. Эмпирическое опирается на новые, преимущественно архивные источники, впервые вводимые в научный оборот, а аналитическое исследование – на опубликованные и уже введенные в научный оборот, а значит критически осмысленные источники, и научную литературу. Она считает, что выводы моего исследования «основаны преимущественно на изучении опубликованных исторических источников и научной литературы», которая используется не только для показа сложившихся в науке подходов к изучению рассматриваемых проблем, но и «для формирования информационной базы исследования». Это так и не так.

Большая часть из используемых мною опубликованных источников действительно были когда-то напечатаны, но, как отмечает дискуссантка, не были критически осмыслены, требовали оценки на точность и достоверность, что пришлось сделать мне, и в этом отношении не соответствовали их идентификации как вторичных. Но самое главное, я решился на ревизию традиционных представлений только после того, как проверил свои гипотезы на источниках первого уровня. Принципиальные выводы получены мною на основе анализа архивных материалов или опубликованных необработанных данных. Я нашел, обработал, рассчитал и ввел в научный оборот массу новых статистических данных, которые позволили переоценить стереотипные представления об имперской России. Построенные мною динамические ряды касались важных сфер общественной жизни, охватывали имперский период и всю Европейскую Россию: цены, заработная плата рабочих, жалованье чиновников и офицеров, доходы духовенства, грамотность населения, численность бюрократии, рост (длина тела) мужского населения, экспорт русского хлеба, уровень урбанизации, социальный состав, а также брачность, рождаемость, смертность и естественный прирост населения. Для XIX – начала XX в. оценена динамика преступности, массы тела населения, посещения исповеди и причастия во время Великого поста. А для пореформенной России рассчитал такие важные показатели, как индекс человеческого развития, децильный коэффициент неравенства, годовой бюджет времени крестьянина-работника и лаг в уровне развития между Россией и великими державами к 1913 г. Именно эти данные позволили оценить направление и степень изменений в стране. Создание таких баз сведений, которые в информатике называют «большими данными», потребовало огромных многолетних усилий и работы в архивах с источниками. В «Российской

империи...» во многих случаях эти данные, введенные мною в научный оборот ранее, приведены в обобщенном виде и использованы в анализе.

Например, для оценки реальной динамики различных показателей мне нужны были данные о ценах. Я нашел эти данные главным образом в архивах и в периодике и впервые построил индекс потребительских цен в России за XVIII – начало XX в., что позволило мне решить вопрос о динамике уровня жизни в России в период империи. Впервые в историографии в массовом порядке (сплошняком и погодно) были обработаны архивные метрические и исповедные ведомости XVIII–XIX вв. по уездам и губерниям России, на основе которых была дана характеристика демографических процессов среди городского и сельского населения и оценен уровень урбанизации. Ввиду спорности традиционных показателей об уровне жизни мне пришлось обратиться к антропометрическим данным. Для этого я собрал 306 тыс. индивидуальных и около 11,7 млн суммарных данных о росте, весе и других антропометрических показателях мужского и женского населения из девяти архивов России. Именно эти новые данные, которые никогда не использовались прежде, и обнаружили перманентное улучшение основных экономических и социальных показателей, о котором я и сам прежде не догадывался. Конечно, в «Российской империи...» эти и многие другие данные выглядят вторичными – и здесь критик права, но по сути они первичны.

В качестве особенностей моего исследовательского стиля Л.Н. Мазур отметила: 1) аналитизм – подход к научному исследованию, который опирается на *методы типологии, моделирования, факторного, причинно-следственного и динамического анализа*; 2) обобщающий характер с упором на изучении не событий, а процессных явлений в их комплексе и взаимосвязи; 3) ярко выраженная методико-методологическая рефлексия; 4) концептуализм (синтез эмпиризма и рационализма); акцент на выделении общих трендов, закономерностей и качественных состояний/оценок. Не отмечена принципиальная *междисциплинарность* моего подхода, которая, вообще говоря, в значительной степени и объясняет отмеченные особенности исследовательского стиля. Со студенческих лет я работаю в тесном контакте с социологией, экономической наукой, психологией, культурологией, политологией, географией и математической статистикой, где теория уважается даже в описательном исследовании, в аналитической же работе теория, обобщение, поиск закономерностей и тенденций просто обязательны, а экспериментально-аналитическая стратегия очень ценится.

Как справедливо предполагает Л.Н. Мазур, «сторонник эмпирической истории будет испытывать нехватку описательности, событийного нарратива». Действительно, далеко не всем коллегам импонирует такая манера исследования. Например, на заседании Ученого совета СПбИ РАН от 27 января 2015 г., посвященном рекомендации «Российской империи...» к печати, член совета М.Б. Свердлов выступил против утверждения книги к печати на том основании, что, по его мнению, монография – не историческое сочинение, поскольку по методологии и предмету моих штудий я не историк. Подобные заявления время от времени слышатся и в отношении других историков, работающих в аналитическом и междисциплинарном ключе. Критик совершенно верно заметила, что «осознавая этот запрос», я «стремлюсь выполнить его за счет соблюдения правила “триединства”, т. е. сочетания текста, статистики и иллюстраций». Добавлю, что кроме внешнего запроса я хотел реализовать и свою собственную глубокую потребность найти конкретно-образное, эмпирическое проявление и воплощение абстрактных отвлеченных понятий, мыслей, идей и цифр, так как это увеличивает мою внутреннюю уверенность в их правдоподобности.

По-видимому, дискуссант думает, что я излишне противопоставляю аналитизм и эмпиризм и переоцениваю первый в ущерб второму – потому, вероятно, и статья ее названа «Аналитизм против эмпиризма». Одним из оснований для такого вывода послужило отнесение мною конкретно-исторических исследований к «*поверхностному*» уровню событийной истории, подчеркивая при этом, что «при изучении коротких периодов затруднительно, если невозможно, разглядеть долговременные изменения и тенденции» (Миронов, 2014: 27). Как известно, слово «поверхностный» имеет два значения: а) верхний слой, то, что лежит на поверхности; б) малозначимый, несерьезный, несущественный. Однако я употребил слово исключительно в первом смысле, так как отношусь к фактам, лежащим на поверхности, с большим уважением и интересом. Более того, я испытываю аллергию к спекулятивным, оторванным от эмпирии рассуждениям. Мне нравятся факты, особенно такие, которые позволяют увидеть в единичном типичное, в случайном – закономерное, в частном – общее. Поскольку Людмила Николаевна не одинока в своем

впечатлении, что аналитическое исследование я ставлю выше эмпирического, то прошу прощения за неточность выражения своей мысли. Разделяю мнение, что обе стратегии равноценны, если исследования выполнены на высоком научном уровне, что серьезный глубокий аналитизм основывается на эмпиризме, а обобщения имеют цену только тогда, когда основываются на фактах.

Для меня очень важно, что критик поддержала мое стремление использовать «интегральный» (неоклассический) подход и правильно его трактовала – недостаточностью объяснительного потенциала теории модернизации для интерпретации всех явлений. Она метко назвала такой подход «десакрализацией теоретического знания», т. е. переводом его в «разряд инструментальных практик». Да, историк должен быть всеядным и в отношении эмпирии, и в отношении концепций, так как «цветы растут из всякого сора».

Согласен с дискуссантом также и в том, что методологический плюрализм имеет свои плюсы и минусы. К его потенциальным недостаткам она относит: а) незавершенность объяснительного акта; б) механическое смешение понятий, заимствованных из разных теорий, затрудняющих объяснение и понимание. Она находит проявления этого и в «Российской истории...». Первый пример относится к анализу процесса модернизации российской семьи. По мнению критика, я «ухожу от ожидаемого уточнения понятий “традиционная” и “современная” семья, подменяя их характеристикой “патриархальной” и “демократической” семьи: типология остается незавершенной». Действительно, в большой главе, посвященной семье, нет определений «традиционная семья» и «современная семья», однако не потому, что ухожу от ответа и не по причине методологического плюрализма. Причина в том, что в любой системе координат – исторической, социологической или психологической – простых определений традиционной и современной семьи наподобие «равнобедренный треугольник – треугольник у которого равны две стороны» дать практически невозможно из-за сложности объекта. Например, определения «традиционная семья – составная, авторитарная, патриархальная», «современная семья – малая, демократическая» весьма приблизительно отражают важнейшие черты традиционной и современной семьи. Не случайно в обширной литературе о семье искомым определениям тоже нет. Дело сводится к перечислению основных признаков, или критериев, той и другой. Вместо определений на своих лекциях я привожу студентам следующую таблицу – исключительно ради наглядности и удобства запоминания (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики традиционной и современной семьи

Основные признаки	Традиционная семья	Современная семья
Тип семьи	Составная: три поколения, две и более брачных пары и часто родственники	Малая (нуклеарная): два поколения, супруги с неженатыми детьми
Принцип организации	Союз преимущественно родственный; родственные отношения имеют приоритет над супружескими; перевес ценности родства над максимизацией выгод семьи и индивида	Союз преимущественно супружеский; первенство семейных и индивидуальных целей над родственными; максимизация выгод членов семьи
Семья – личность – общество (коллектив)	Находится под жесткой опекой коллектива, индивиды – под жестким контролем семьи; коллективизм: общее имущество, совместный труд, стол, отдых; общие интересы семьи главенствуют над индивидуальными интересами ее членов	Автономия семьи в обществе, личности в семье; интересы супругов и детей индивидуальны и разнообразнее семейных; потребности и круг общения выходят за рамки семьи; общие и индивидуальные интересы отдельных членов находятся в гармонии
Семья и церковь	Сакрализация семьи и брака	Десакрализация семьи и брака

Функции семьи	Основные функции: 1) регулирование сексуальной деятельности; 2) репродуктивная; 3) первичная социализация детей; 4) первичный социальный контроль; 5) определение и передача социального статуса и родства; 6) коммуникативная; 7) обеспечение взаимной эмоциональной поддержки; 8) хозяйственно-экономическая; 9) рекреативная; 10) поддержание социального благополучия и взаимопомощь	Функции семьи те же, но значения отдельных функций изменились
Хозяйственная деятельность	Вмонтирована в производственный процесс; является местом производства и подчиняется его требованиям; производственная функция – доминирующая	Освобождена от производственной функции; исключительно потребляющая единица
Основные ценности	Приоритет ценностей выживания, коллективизма и родства	Приоритет ценностей комфорта, удовольствий, экономической выгоды и эффективности
Передача социального статуса	Определяет и передает социальный статус и родство: дети наследуют статус и профессию родителей	Не предопределяет социальный статус, который достигается личными талантами и усилиями
Распределение власти	Власть у главы семьи – деда, отца, мужа	Власть принадлежит всем; в принятии решений участвуют все члены семьи, включая детей; глава семьи ситуативно
Тип внутрисемейных отношений	Авторитарно-патриархальные отношения; гендерное и возрастное неравенство; приниженное положение женщин и детей	Демократические отношения; власть принадлежит всем; в принятии решений участвуют все члены семьи, включая детей
Характер внутрисемейных отношений	Покоятся на неравенстве, иерархии и господстве; статусы у членов семьи разные	Партнерские, отличаются сердечностью и взаимным уважением
Интимная жизнь и цензура нравов	Сфера частной, интимной, личной жизни сужена и ограничена; строгая цензура нравов и сексуальных отношений в особенности	Сфера частной, интимной, личной жизни широка и ничем не ограничена; важное место эмоционально-эротической сферы; свобода нравов и сексуальных отношений
Распределение ролей	Разделение труда на основе половозрастных признаков; строгое разделение мужских, женских и детских обязанностей	Семейные обязанности распределяются равномерно и справедливо по взаимному согласию; дети освобождены от обязательного труда
Роль женщины	Ведение домашнего хозяйства, уход за мужем и детьми; полная зависимость от мужа	Вовлечена в общественное производство; имеет материальную независимость
Ценность брака	Супервысокая; культура всеобщих браков (вне брака остаются практически только инвалиды); осуждение внебрачного состояния; влияние брачного состояния на статус человека	Высокая; значительная доля людей не вступают в брак и не имеют детей; равноценность различных брачных состояний (холостых, женатых, вдовых, разведенных)
Ценность детей	Супервысокая; дети – необходимость из-за отсутствия государственного социального обеспечения	Высокая; значительная доля людей не имеют детей
Количество детей	Культура многодетности с жестким табу на предупреждение и прерывание беременности; осуждение бездетного состояния; в среднем три-четыре и больше детей на один брак	Культура малодетности с индивидуальным вмешательством в репродуктивный цикл и планированием числа детей; в среднем один, два ребенка на брак
Брачный возраст	Культура ранних браков	Культура свободных браков, но средний возраст вступления в брак повышается по причине удлинения времени социализации
Заключение брака и выбор партнера	Браки по расчету устраивались родителями; закрытая система выбора супруга на основе предписаний родства и традиций	Браки по любви и по инициативе молодых; открытая система выбора супруга на основе личностных склонностей
Разводы	Редкие, разрешаемые церковью на небольшом числе оснований	Частые, беспрепятственные и на любом основании

Перечисленные в таблице черты я взял прямо из главы о семье (Миронов, 2014: 645–785), и, на мой взгляд, это мало что добавляет к сказанному и не является определением традиционной и современной семьи. Будет интересно, если Л.Н. Мазур предложит краткие и емкие определения.

«Аналогичная ситуация складывается в главе 5, – пишет критик, – объектом которой выступают процессы модернизации города и деревни. Б.Н. Миронов отмечает, что “нет ясности относительно уровня урбанизации России” (Миронов, 2014: 517), поскольку нет возможности оценить ни количество городского населения, ни городов. Видимо, в силу этого автор не обращается к базовым проблемам истории урбанизации, в частности выделения ее стадий, связанных с переходом от аграрного/традиционного к индустриальному и интегрированному расселению; уточнению исторических критериев и содержания понятия. *Все внимание в главе сосредоточено на вопросах, по большей части второстепенных – типологии российского города XVII–XIX вв., механизмах его взаимодействия с сельской местностью (дифференциация-интеграция)*» (курсив мой. – Б. М.).

Даже если согласиться со сказанным, я не вижу здесь влияния методологического плюрализма. Однако в данном случае дискуссионка ошибается, что, конечно, более чем извинительно по причине большого объема книги. Говоря о недостатках моего анализа процесса урбанизации, она ссылается на отрывок (Миронов, 2014: 517), где речь идет об актуальных проблемах исторической демографии, среди которых называется недостаточная изученность урбанизации. Однако в главе, непосредственно ей посвященной, проанализировано не только то, что Л.Н. Мазур считает важным, но и многие другие интересные процессы, которые она по недоразумению считает второстепенными. В частности, оценены уровень урбанизации, ее динамика и периодизация, выделяются стадии, связанные с переходом от аграрной к индустриальной экономике, дан анализ такому явлению, как рассеянная урбанизация. В специальном подразделе выявлено, как изменялось число городов и их структура по величине населения, проведен анализ отраслевой структуры занятости городского населения и на этой основе города классифицированы по их функциям (военно-административные, аграрные, торговые, промышленные, смешанные) и по уровню развития. Изменению социального состава городского населения и социальной мобильности посвящен другой подраздел главы. В результате получены новые и принципиально важные выводы.

1. В течение четырех столетий, XVII–XX вв., российский город испытал разительные изменения. С точки зрения различий между городом и деревней можно выделить четыре периода: а) до середины XVII в.: город и деревня не были отделены друг от друга, а представляли как бы единое административное, социальное, экономическое и культурное пространство; б) середина XVII в. – 1775–1785 гг.: происходило отделение города от деревни во всех аспектах; в) 1785–1860-е гг.: город отделился от деревни экономически, и их дифференциация во всех отношениях достигла своего апогея; г) 1860-е – 1917 г.: дифференциация города и деревни сменилась процессом их интеграции.

2. В России XVIII – первой половине XIX в. наблюдалась *деурбанизация* – процент наличного городского православного населения с 1740-х по 1860-е гг. снизился с 13 до 9. Причины: низкий естественный прирост городского населения сравнительно с сельским (вследствие более высокой смертности в городе) и слабая миграция крестьянства в города (в силу крепостного права и низкого спроса города на рабочие руки). Лишь в пореформенный период доля городского населения стала систематически расти и к 1914 г. достигла 15,3 %.

3. В распределение городских поселений по числу жителей (большие – более 100 тыс. жителей, средние – от 20 до 100 тыс., малые – менее 20 тыс.) произошли существенные перемены. В последней четверти XVII в. в России был один средний город – Москва, все остальные были малыми, так как имели менее 15 тыс. жителей. С конца XVII в. малые города с населением до 2 тыс. жителей, а с середины XIX в. с населением менее 5 тыс. жителей либо становились средними, либо вымирали, превращаясь в села. Во второй половине XIX – начале XX в. процесс трансформации городов продолжался с еще большей интенсивностью. Малые города доживали свой век. К 1917 г. в России насчитывалось 22 больших города, а число жителей в Петербурге и Москве превысило 1 млн. Доля населения, проживавшего в больших городах, за 1722–1910 гг. возросла с 0 до 40 %, в средних городах – с 2 до 37 %, в малых городах, наоборот, сократилась с 98 до 23 %.

4. Сравнение структуры занятости городского населения на 1760-е, 1790-е, 1850-е и 1897 гг. показало, что функциональная структура городов претерпела радикальные изменения: в 1760-е гг. 4,6 % городов являлись административно-военными, 59 % – аграрными и лишь 5,9 % – торговыми (2,3 %) и промышленными (3,6 %). К концу XIX в. «чисто» административно-военных, аграрных, торговых и промышленных городов осталось лишь 10,8 %. Зато число городов смешанного типа (в которых население распределялось более или менее равномерно между разными сферами занятости) возросло как абсолютно, так и относительно – с 20 до 89 %.

5. Города принято также классифицировать на доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные. Города XVIII в. были преимущественно доиндустриальными, в первой половине XIX в. – преиндустриальными, или протоиндустриальными, а на рубеже XIX–XX вв. – индустриальными. В конце XIX в. одновременно сосуществовали умирающие доиндустриальные города, бурно развивающиеся индустриальные и зарождающиеся постиндустриальные города.

6. Социальный состав городского наличного населения изменялся. Доля дворян увеличивалась с 2,6 % в 1744 г. до 6,6 % в 1897 г., доля духовенства сократилась соответственно с 2,4 до 1,2 %, доля разных мелких социальных групп (разночинцев и др.) – с 13 до 2,3 %, доля военных находилась на уровне 10–12 %. Наибольший интерес представляют изменения в численности крестьян и городского сословия (мещан, купцов, ремесленников и др.). В наличном населении доля крестьян увеличивалась с 32 % в 1744 г. до 45 % в 1897 г., а доля городского сословия – с 40 до 44 %. К началу XX в. крестьяне в составе наличного городского населения стали самой многочисленной социальной группой в городе.

7. Несмотря на сословный характер общества, в городе наблюдался довольно высокий уровень вертикальной социальной мобильности, в которую были вовлечены все сословия, и мобильность со временем росла. Самым открытым на входе в сословие являлось дворянство, а самым закрытым – духовенство, а на выходе из сословия, наоборот – самым закрытым было дворянство, а открытым – духовенство.

8. Существенная перестройка городов по числу жителей и по занятиям имела следствием столь же радикальные перемены в характере труда, в образе жизни городского населения, в значении городов в жизни страны.

Есть серьезная причина, почему я так подробно остановился на проблемах урбанизации. Сделанные выводы опираются не на спекуляции, а на массовые источники всероссийского масштаба преимущественно архивного происхождения и радикально изменяют господствующие в историографии представления об урбанизации в период империи. По сути это полная ревизия априорно сложившихся в историографии взглядов на урбанизацию, согласно которым русские города со времен Древней Руси являлись преимущественно торгово-промышленными центрами, а доля городского населения в стране систематически повышалась. Но, несмотря на их радикализм и эмпирическую основательность, мои выводы остались мало замеченными в историографии, хотя впервые были опубликованы в 1990 г. (Миронов, 1990). В «Социальной истории...» и вот теперь в «Российской империи...» я их дополнительно обосновал, расширил период анализа до советского периода включительно, и вновь критик их не заметил и не оценил. Причем критик компетентный – ее перу принадлежат две монографии, посвященные близкой теме о сельской урбанизации и ее последствиях (Мазур, 2012; Мазур, Бродская, 2006).

Еще один пример «издержек» использования методологического плюрализма, на который указал дискуссант, относится к анализу социальной структуры. На этом замечании мне придется также подробно остановиться, потому что в советской историографии социальная структура по-марксистски элементарно изучалась (богатые – бедные, эксплуататоры – эксплуатируемые), и эта традиция до сих пор здравствует в постсоветской историографии.

«Основной итог эволюции социальной структуры изложен в схеме социальной стратификации российского общества начала XX века, в которой в качестве классов выделены высший, средний, «синие воротнички» и низший (социальное дно). Данная классификация используется в зарубежной социологии и опирается в своей основе на показатели дохода» (Миронов, 2014: 463–464) (табл. 2).

Таблица 2. Социальная стратификация российского общества начала XX в.

Классы	Страты	Профессиональные группы	Сословные группы	Доля в населении, %
Высший	Верхняя	Военные и гражданские чины I–II классов, церковные иерархи, богатейшие землевладельцы и предприниматели	Высшее титулованное дворянство, черное духовенство	1,0
	Нижняя	Военные и гражданские чины III–IV классов, богатые землевладельцы и предприниматели	Столбовое дворянство, потомственные почетные граждане, купцы I гильдии	0,3
Средний	Верхний	Чиновники V–VIII классов, городские священники, средние предприниматели, средние землевладельцы (помещики), известные люди свободных профессий, профессора	Потомственное и личное дворянство, почетные граждане, купцы II гильдии, личные дворяне, белое духовенство, разночинцы	1,0
	Средний	Военные и гражданские чины IX–XII классов, городские священники, свободные профессии, преподаватели высшей школы и гимназий, мелкие землевладельцы (помещики)	Потомственное и личное дворянство, духовенство, почетные граждане, разночинцы	1,0–2,0
	Нижний	Военные и гражданские чины XIII–XIV классов, сельские священники, дьяконы, учителя начальной школы и другие лица умственного труда средней квалификации, мелкая сельская («кулаки», «отрубники») и городская буржуазия	Личные дворяне, духовенство, зажиточные мещане, цеховые, зажиточные крестьяне	12,0–16,0
Рабочий	Верхний	Канцеляристы, церковнослужители, земледельцы, рабочая аристократия, белые воротнички	Крестьяне (середняки), мещане, цеховые	50,0–53,0
	Нижний	Земледельцы, рабочие, лица наемного труда	Крестьяне (бедняки), бедные мещане и цеховые	30,0–32,0
Низший, или социальное дно		Люмпены (бездомные, заключенные, нищие, бродяги, странники, богомольцы) и очень бедные	Представители всех сословий	1,0

«Насколько такая схема исторична? Вряд ли кто из рабочих конца XIX в. идентифицировал себя как “синий воротничок”. Общественному сознанию начала XX в. была ближе марксистская теория классов, и антагонизм пролетариата и буржуазии воспринимался обществом того времени как социальная реальность. <...> Предложенная Б.Н. Мироновым схема классов весьма любопытна, но представляет собой теоретическую конструкцию, эпистемологический смысл которой для понимания структуры поздней имперского общества не вполне очевиден». Из сказанного следует, что использование социологической матрицы понятий для характеристики социальной структуры российского общества усложняет и «запутывает картину». Давайте разберемся.

Классификация (высший, средний, «синие воротнички» и низший) используется не только в зарубежной социологии, но и весьма широко в отечественной, в настоящий момент это, можно сказать, нормативная концепция, и она опирается не только на показатели дохода (даже в своей основе). Классы *конструируются* на основании многомерного анализа и организуются в иерархический порядок в соответствии с (1) престижем, (2) властью, (3) материальным положением, (4) образованием, знанием, интеллектом, (5) религиозно-этнической принадлежностью, (6) происхождением, (7) стилем жизни.

В марксистской стратификации общества единственным и главным критерием является обладание собственностью. Поэтому социальная структура общества сводилась к двум классам: классу собственников на средства производства (рабовладельцы, феодалы, буржуазия) и классу, лишенному собственности на средства производства (рабы, крепостные, пролетарии). Интеллигенция и некоторые социальные группы рассматривались как промежуточные слои между классами. Жесткая бинарная схема элементарна и несостоятельна. Например, в начале XX в. в России в *класс буржуазии* попадают люди богатые, средние и даже бедные по материальному достатку, образованные и неграмотные, с разным стилем жизни – купцы всех гильдий, почетные граждане, мещане и ремесленники, если они эксплуатируют наемных рабочих, богатые дворяне-землевладельцы и мелкие земельные собственники, включая крестьян, с наемным трудом. *Класс рабочих* был также пестрым – там были крестьяне, мещане, купцы, солдаты, лица

духовного звания и даже деклассированные дворяне, неквалифицированные, квалифицированные наемные работники и рабочая аристократия (Миронов, 2014: 416), отличавшиеся доходом, стилем жизни, образованием. Многие «рабочие», в особенности занятые в сфере услуг (слуги, приказчики, дворники, извозчики, портные, сапожники, продавцы, проститутки, артисты и т. д.), представляли специфические социальные группы, отличавшиеся от промышленных рабочих по доходу, образу жизни, образованию и менталитету; некоторые из них занимались в большей или меньшей мере умственным трудом и не идентифицировали себя с рабочими. «Рабочие» не успели стать истинным классом; они идентифицировали себя не с пролетариями как специфической социальной группой, а с различными сословными группами (крестьянами, мещанами, ремесленниками и т. п.), являясь по сути полисословной социальной группой, объединяемой только профессиональными интересами. Марксистскую теорию классов знали и разделяли образованные люди социалистической ориентации, т. е. очень немногие, а среди рабочих – профессиональные революционеры. Концепция не имела сколько-нибудь широкого распространения.

Между тем в советской историографии нормативным считалось, что капиталистическая социальная структура сложилась в 1880-е гг., в постсоветской время формирования сдвинулось к началу XX в., но трактовка самого процесса классовобразования остается по сути марксистской. Я полагаю, что в течение всего пореформенного периода сословная структура трансформировалась в классовую, но процесс далеко не завершился даже к 1917 г. В «Российской империи...» довольно много уделено социологическим концепциям стратификации именно ради того, чтобы читатели осознали элементарность марксистской теории классов и познакомились с тем, как в современной социальной науке трактуются проблемы класса, социальной стратификации и социальной структуры. Таблица 2, которая вызвала недоумение у критика, дает представление о том, как социальную структуру начала XX в. можно сконструировать с трех точек зрения: (1) современной концепции классов, (2) профессий и (3) сословной парадигмы, которую разделяла подавляющая часть населения (значит, с точки зрения массового сознания). Эта схема наглядно показывает принципиальную несостоятельность марксистской концепции классов и неадекватность современной социологической концепции стратификации для характеристики социальной структуры российского общества начала XX в., поскольку эта структура еще не стала классовой. Формирование классов не завершилось, поэтому табл. 2 кажется странной. Вероятно, в недоумении критика есть и моя вина – недостаточно ясно и понятно изложил свою точку зрения.

Итак, вполне солидарен с Л.Н. Мазур в том, использование различных подходов и понятийного аппарата разных наук в исследовании должно быть тонко отрегулировано историком. Их необходимо органически объединить при анализе эмпирических данных, иначе не свойственные исторической науке методы и понятия не принесут ожидаемой пользы, в лучшем случае будут выглядеть архитектурными излишествами, а в худшем – замутят авторское видение и запутают читателя.

Ответ И.В. Побережникову

Мне приятно констатировать, что по принципиальным вопросам российской модернизации наши позиции близки. Мы схожим (хотя и не тождественным) образом оцениваем ход и результат имперской модернизации. По мнению критика, мне в полной мере удалось реконструировать модернизационные тренды в истории России имперского периода, и он принципиально соглашается со мной в том, что в имперской России процесс модернизации подчинялся универсальным закономерностям и осуществлялся одним и тем же механизмом, что и в других европейских странах. Вместе с тем дискуссант считает, что этот универсалистский подход к модернизации, принимающий в качестве эталонной модели западноевропейский вариант модернизации, недооценивает (1) страновое своеобразие, (2) региональную вариативность в пределах одной большой и полиэтнической и поликонфессиональной страны, (3) темпоральную вариативность, обусловленную временем начала модернизации в разных странах и в разных регионах одной большой страны, (4) ситуативную вариативность под влиянием сетевых эффектов (взаимодействия и взаимовлияния различных элементов исторической среды, порождающие своеобразие исторического момента), (5) роль случайности и уникальности в истории.

Однако И.В. Побережников полагает, что своеобразие российской модернизации в книге все-таки недооценивается, потому что диффузия западных институтов и ценностей не сопровождалась столь полным «стиранием» старых российских институтов и ценностей и заменой их новыми, как представляется мне: «Скорее, происходило *сложное взаимодействие* между “традиционным” и “современным”, которое сопровождалось трансформацией содержания того и другого, перестановкой акцентов в том и другом». Предполагаю, что такое впечатление сложилось у критика от «Введения», посвященного теории модернизации, в котором, к сожалению, о темпоральной, пространственной, ситуативной вариативности модернизаций, сетевых эффектах, проблематичности сопоставления с «Западом», страновых случайностях и уникальности в истории не было почти ничего сказано (Миронов, 2014: 38–41).

На самом деле я полностью разделяю идею сложного взаимодействия между «традиционным» и «современным», потому что именно так фактически происходила российская модернизация, что показано во всех главах. Более того, на мой взгляд, успешность имперской модернизации была как раз обусловлена тем, что коронная власть, как правило, использовала стратегию промежуточных институтов. «Характерной чертой успешных российских реформ являлся терапевтический режим их проведения. Все новые институты и институции, необходимые для успешного развития, создавались постепенно, с оглядкой на остальную Европу, но с учетом российской специфики. Размер “окна в Европу”, откуда заимствовались институты, власти тщательно регулировали. Аутентичное копирование применялось редко, поскольку оно не приносило ожидаемых результатов – заимствованные институты отторгались обществом. Да и в принципе буквальное заимствование зарубежных образцов было невозможным: ввиду малочисленности бюрократии, недоразвитости российской инфраструктуры и низкой культуры самого населения образец не мог воплотиться в жизнь без искажения. Отменить или игнорировать национальные самобытные институты оказывалось невозможным, даже если бы такую цель власти ставили» (Миронов, 2015b: 721). Эти идеи красной нитью проходят через всю книгу (Миронов, 2015a: 231, 239, 243; Миронов, 2015b: 440, 634–636, 723).

Вследствие постепенности модернизации, а также того обстоятельства, что Россия находилась и развивалась в конкретном историческом контексте, который оказывал на нее постоянное воздействие (через конъюнктуру мирового рынка, структуру «мировой системы», конкуренцию в области военных, политических, социокультурных технологий и т. д.), формирующиеся институты и структуры по определению не могли *стать элементарной калькой* с того, чем было современное европейское сообщество прежде и в момент трансферта. Соответственно *Россия не могла элементарно повторить чей-то исторический путь*. «То, что в императорский период считалось национальной спецификой русских, несколькими поколениями ранее *встречалось* в других европейских странах. Разумеется, *не буквально, а принципиально*, ибо в рамках европейской цивилизации Россия, как и каждая страна, имела национальные особенности, обусловленные различиями в религии, географической среде, в политических и культурных условиях существования» (Миронов, 2015b: 620).

И.В. Побережников ставит законный вопрос. Принимая Запад за эталон, мы сталкиваемся с другой проблемой: с каким именно «Западом» проводилось сравнение России? Ни одна из европейских стран не соответствует тому, что обычно называется Западом; сам Запад является «мифическим и идеализированным». Модернизации в отдельных странах Западной Европы и Северной Америки отличались своеобразием – скоростями, ролью государства, механизмами. Внутри европейского Запада существуют англо-французский Запад, германский Центр, славянский Восток и средиземноморский Юг. А модернизация на дальнем Западе – в Америке сочетала в себе элементы всех европейских модернизаций.

И на этот вопрос в книге предложен ответ. Суммируя наиболее характерные черты образа России и Запада на конец XIX – начало XX в., которые артикулируются в российском цивилизационном дискурсе в последние 133 года, от Н.Я. Данилевского до современных евразийцев, я обнаружил 20 пунктов «принципиальных» различий между Россией и Западом. Они не выведены индуктивно, путем анализа реальности, а сконструированы (как правило, с политическими целями) путем усиления, выделения, заострения тех черт, которые исследователям представляются наиболее важными и характерными. Россия или Запад – это умственная конструкция, называемая в социологии (по предложению М. Вебера) идеальным,

или чистым, историческим типом. Идеальные типы «Россия» и «Запад» – аналитические категории, подобно совершенному вакууму в физике или совершенной конкуренции в экономике. Реальные Россия и Запад похожи на их идеальные типы в той примерно степени, в какой совершенная экономическая конкуренция похожа на действительную конкуренцию в современной России или на Западе (Миронов, 2015b: 641–643).

В научном анализе идеальные типы, если они адекватно сконструированы, дают эталон для сравнения, без которого ученому не обойтись. Нравится европейский эталон или нет, он нужен для сравнительных исследований. Если отказаться от европейского, надо сконструировать китайский, восточный или какой-нибудь другой. Температура измеряется по четырем шкалам: Цельсия, Кельвина, Реомюра или Фаренгейта. Внешне шкалы дают разные оценки температуры – один градус Цельсия соответствует 274 градусам Кельвина, 33,8 градуса Фаренгейта и 0,8 градуса Реомюра. Но различие температур фиксируют примерно одинаково. Шкалы применяют в разных физических ситуациях. И в исторической социологии желателен иметь несколько шкал: например, одну для измерения научных и материальных достижений, вторую – моральных, третью – художественных, четвертую – для оценки уровня удовлетворенности и счастья.

Существование эталонов не искажает реальность, а лишь создает возможность для разных сравнений и оценок. К сожалению, историки и культурологи часто забывают об этом и отождествляют умственные конструкции с самой историко-культурной реальностью. Кроме того, многие считают европоцентристскую шкалу идеальной, а европоцентристскую модель развития – достойную для подражания.

Согласен с И.В. Побережниковым в том, что в книге недооценены сетевые эффекты и что пространственное измерение модернизации в России с ее колоссальной территорией и полиэтническим населением нуждается в более глубоком анализе, поскольку в ряде случаев речь должна идти о разных региональных моделях модернизации. С огромной работой по изучению сетевых эффектов и региональных моделей модернизации могут справиться только коллективы исследователей, поэтому эти задачи в книге даже не ставились. Моя цель ограничивалась реконструкцией общероссийских модернизационных трендов.

Ответ Н.Б. Селунской

Известный специалист в области методологии истории дополняет анализ методологии «Российской империи...», сделанный Л.Н. Мазур, И.В. Побережниковым и И.В. Поткиной (см. далее). По мнению Н.Б. Селунской, мое «исследование имеет концептуальный характер», поэтому дает основание «для дискуссии внутри исторического профессионального сообщества по поводу и самой процедуры исторического объяснения, и моделей объяснения российской истории в контексте парадигмы “Россия – Запад”». Ценно, что критик рассматривает предложенный мной интегральный подход к объяснению русской истории в период XVII–XX вв., во-первых, в контексте общих моделей исторического объяснения, разработанных в современной российской и зарубежной историографии, во-вторых, в контексте интерпретации российской истории на основе различных теорий исторического объяснения.

Подобно практически всем участникам круглого стола, дискуссант позитивно оценивает методологический плюрализм в подходе к объяснению (при предпочтении, отдаваемого мной концепции модернизации), который «расширяет горизонты видения российской истории, объемность и многогранность образа России», и мою приверженность неоклассической модели исторического исследования. Такое единодушие меня особенно радует потому, что, честно говоря, ожидал негативной реакции на методологический плюрализм, жестко осуждавшийся в советское время, как и теория модернизации, вплоть до обвинения в волюнтаризме, эклектизме и неразборчивости в методологических средствах. И.В. Поткина не исключает, что негативная реакция все же последует.

Н.Б. Селунская, как Л.Н. Мазур, И.В. Побережников и И.В. Поткина, разделяют со мной озабоченность распространенным в профессиональном историческом сообществе отрицания важного значения исторического синтеза и исторического объяснения, девальвацией теорий, создававших основу объяснительных моделей исторического процесса, вследствие увлечения локальной историей, микроисторией, исследованиями повседневной жизни, под влиянием так называемого «постмодернистского вызова» и «лингвистического поворота» в истории, отрицания исторического синтеза и исторического объяснения является.

Участники круглого стола поддержали Н.Б. Селунскую и в том, что в «Российской империи...» удалось реконструировать главный модернизационный тренд имперского периода – «переход от империи “старого порядка” к “современной” империи, от полицентричной и дифференцированной политической системы к более централизованному и бюрократизированному государству, которое через элиты проводило политику унификации в области экономики, языка и культуры». В связи с этим понятие «модернизирующиеся империи» является методологически значимым. «...Объяснение транзита Российской империи от традиции к модерну вписывается в три магистральных ракурса объяснения “модернизации империй” представителями направления “new imperial studies”, которые обозначены... как “сравнительное, географическое и культурное”».

Критик констатирует, что в книге используется «процедура наилучшего объяснения». Во-первых, признается возможность нескольких объяснений исторических событий, явлений и процессов. Во-вторых, находится консенсус между различными методологическими подходами, который «усиливает обоснованность “совпадающих” конкретно-исторических выводов и заключений относительно образа имперской России, а “несовпадающие” могут рассматриваться как комплиментарные, обогащающие этот образ». Такое решение не исключает предпочтения одних объяснительных моделей и критической оценки других.

По мнению дискуссанта, предпочтение концепции модернизации – вполне рационально, так как концепция до сих пор является прагматичной и работоспособной. Однако критику «представляется необоснованной и некорректной [моя] негативно-критическая эмоциональная оценка марксистской парадигмы». Не буду спорить по поводу эмоциональности. Но относительно других определений («необоснованная некорректная» и «негативно-критическая») хотелось бы внести два уточнения.

Во-первых, мне не импонирует *догматический марксизм ленинского извода*, господствовавший в советской историографии, прежде всего потому, что ему не удалось идентифицировать и объяснить основные тенденции в развитии имперской России.

Во-вторых, те или иные марксистские идеи были усвоены практически всеми концепциями, в том числе модернизационной, мир-системной, синергетической, постмодернистской, институциональной, что создало основание интеграции методологических подходов. Складывающаяся новая неоклассическая модель исторического исследования, последовательно используемая в трехтомнике, отличается прагматическим и интегральным характером – она, если можно так сказать, поликонцептуальна (по аналогии с полидисциплинарным подходом, интегрирующим концепции и подходы нескольких наук), следовательно, в той или иной степени использует марксистские идеи.

К моему удовлетворению, Н.Б. Селунская заметила, что в «Российской империи...» «присутствует, проступает и ощущается связь моего подхода с отечественной традицией исторического объяснения». Читая этот пассаж, понимаю, что подмечено верно. Однако, честно скажу, что это произошло неосознанно. Некоторые идеи усвоены так давно и прочно, что их происхождение забывается.

Ответ И.В. Поткиной

Уважаемая коллега предсказывает читательский интерес к «Российской империи...» благодаря обобщающему характеру, актуальности, дискуссионности, новизне выводов и подходов, введению в научный оборот ранее не использовавшихся массовых источников, повышенному вниманию к проблемам идейно-теоретического осмысления истории и широкому использованию отечественной и зарубежной историографии для подтверждения собственных наблюдений и для дискуссии.

И.В. Поткину тревожит теоретический нигилизм; она приветствует методологический плюрализм за прагматизм и эффективность, потому что «нет универсальных теорий, которые смогли бы дать максимально приближенное к неоднозначной и противоречивой реальности объяснение многослойному и многогранному историческому процессу». Вместе с тем она предполагает, что плюрализм «наверняка вызовет негативную реакцию у части исторического сообщества и обвинения в теоретическом эклектизме».

Вопросы еврейской политики затрагивались в выступлениях В.В. Керова, А.Б. Лярского и У. Сандерленда. Не прошла мимо них и Ирина Викторовна. Ее мнение интересно потому, что она основательно изучала предпринимательское право империи

(Поткина, 2009), имевшее прямое отношение к этноконфессиональной политике. Не оспаривая факт дискриминации по этническому и религиозному признаку, она подтверждает наличие тенденции к либерализации еврейского законодательства, которая завершилась отменой в 1915 г. черты оседлости и отказом от всех ограничений в отношении предпринимательской деятельности евреев. Как известно, все познается в сравнении. Критик отмечает, что в автономном и более демократическом Великом княжестве Финляндском отношение к евреям было «просто ужасающим» и что этноконфессиональная дискриминация наблюдалась во многих странах Европы, и от нее, как и в России, «избавлялись постепенно, в течение десятилетий». Она справедливо считает крестьянство «самым ущемленным сословием», для которого существовало свое особое законодательство, вследствие чего оно долго не могло реализовать право частной собственности на землю.

И.В. Поткина – единственный участник дискуссии, высказавшая свое мнение по главе «Государственность и государство» (Миронов, 2015а: 345–646). Она признает, что недоуправляемость, обусловленная дефицитом административного ресурса, послужила важной причиной медленной модернизации, справедливо добавляя, что надо также учитывать размеры страны и масштабы экономики. Развитие России она образно сравнивает с «рекой, которая неспешно течет по бескрайним просторам равнины». Дискуссант также соглашается с критериями, используемыми мной при оценке эффективности государственного управления. Результаты функционирования бюрократического аппарата или более конкретно – долгосрочный устойчивый рост экономики, политическая и социальная стабильность, повышение жизненного уровня населения и улучшение его основных демографических характеристик – это общепринятые научные критерии, принятые мировым научным сообществом. С точки зрения этих критериев, полагает она, «позиции России в мировом контексте были не так уж плохи», что доказывается положительными трендами в ее социально-экономическом развитии, особенно в позднимперский период. Очень важно, что к этому заключению критика привел собственный многолетний опыт исследования предпринимательства в России (Поткина, 2004; Морозова, Поткина, 1998). На основе изучения делопроизводственной и финансовой документации различных крупных российских и иностранных компаний она пришла к ряду важных выводов: «о тенденции их устойчивого роста во второй половине XIX – начале XX в., несмотря на периодические экономические кризисы, а также о трансформации системы управления, продолжительном социальном спокойствии, повышении уровня заработной платы и в конечном счете улучшении качества жизни».

Согласен с И.В. Поткиной в том, что проблема человеческого капитала в имперской России «раскрыта в книге не полностью». Из разных измерителей величины человеческого капитала я выбрал уровень грамотности и число лет обучения, между тем как в современной науке существует и более широкое толкование данного понятия – это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни. Человеческий капитал измеряется расходами семей на питание, одежду, жилище, образование, здравоохранение, культуру, а также расходами государства на эти цели. В таком широком понимании человеческого капитала определить его величину возможно, вероятно, только для конца XIX – начала XX в. По мнению дискуссантки, человеческий капитал имеет также качественное измерение и включает много аспектов, в том числе состояние среднего специального и высшего образования, уровень квалификации наемных работников на разных ступенях экономической структуры, каналы и способы взаимодействия высшего и среднего специального образования с торгово-промышленными предприятиями, обеспечение охраны труда и здоровья работников, а также организация досуга и развлечений. Некоторые из этих аспектов можно и нужно исследовать. Критик высказывает интересные соображения относительно изучения человеческого капитала с точки зрения становления среднего и специального высшего образования и уровня квалификации управленческого персонала торгово-промышленных фирм. Вступление Российской империи в фазу современного экономического роста, отмечает она, потребовало привлечения в промышленность высококвалифицированных кадров, имеющих специальную подготовку. Быстрый рост числа учебных заведений говорит о том, что страна сумела ответить на вызов времени – между 1904 и 1914 г. (вместе с США) стала мировым лидером в области технического образования, обойдя Германию.

Согласен также, что проблему подготовки инженерных кадров и специалистов среднего звена действительно можно было поставить в контексте изучения человеческого

капитала. Не сделал этого потому, что, с одной стороны, был ограничен объемом книги и сроками ее завершения, с другой – в интересах историзма я использовал, как правило, такие показатели, которые можно было представить в виде длинных динамических рядов.

Еще два интересных вопроса поставила И.В. Поткина – о роли религии и традиции в экономическом и культурном развитии. Она не считает, что почитание икон и посещение святых мест – предрассудки традиционной культуры. Например, Т.С. и М.Ф. Морозовы были глубоко верующими людьми, начинавшими каждый день с молитвы. Но это не помешало им вывести Никольскую мануфактуру в ряды лидеров текстильной индустрии и, кроме того, способствовало их благотворительной деятельности и социальной работе с рабочими. Предприниматели создали в итоге успешно работающее интегрированное предприятие с полным циклом производства и развитой социальной инфраструктурой, составной частью которой стала их домашняя церковь. На мой взгляд, это замечательная иллюстрация того, что традиции могут играть роль ускорителя процессов развития и роль общественного стабилизатора (о чем говорит современная теория модернизации).

Аналогичный синтез традиции и модерна И.В. Поткина обнаружила в искусстве и музыке. Художники, занятые в высокохудожественных народных промыслах Палеха, Мстеры, Федоскина, Холуя, работали, подпитываясь образами традиционной культуры, но создавали произведения с современными религиозными и светскими сюжетами. Такой стиль нравился Морозовым, материально поддерживавших эти промыслы.

Инструментальная музыка западного образца пришла в Россию в XVIII в. Но уже к концу этого столетия в российской светской культуре имелись высокие образцы инструментальной музыки русских авторов. Причина – музыка западного образца легла на очень хорошо подготовленную почву – традиции церковной хоровой музыки, в которой наряду с древним одноголосным знаменным распевом со второй половины XVI в. культивировалось демественное (многоголосное) пение, а в светской – с XVII в. широкое распространение получили многоголосные канты. «В сфере культуры, – заключает дискуссант, – была более сложная и, я бы сказала, причудливая динамика по сравнению с общим движением от традиции к модерну. С моей точки зрения в России произошло органичное взаимопроникновение двух культур».

Ответ В.В. Керову

В целом положительно оценив книгу и ее общую концепцию, критик высказал несколько конкретных замечаний. По его мнению, мой материал о ментальности буржуазии и интеллигенции выглядит «чрезмерно кратким и упрощенным». Согласен относительно краткости, но не согласен относительно упрощенности. Краткость объясняется недостатком места в книге и времени для написания соответствующих подразделов. Во время обсуждения «Социальной истории...» звучало замечание о недостаточном внимании к рабочему классу, буржуазии и интеллигенции. При подготовке «Российской империи...» я имел намерение заполнить этот пробел и начал с рабочего класса. Потребовалось несколько месяцев работы для подраздела объемом три авторских листа, поэтому я вынужден был отказаться от полной реализации плана. Но, разумеется, лакуну следует заполнить.

Интерпретация дискуссантом моей концепции отмены крепостного права меня огорчила своей простотой и неадекватностью: «...Желание меньше работать, якобы, стало главным стимулом антикрепостнических настроений российских крестьян, а единственной проблемой крепостничества для власти стала невозможность в первой половине XIX в. сохранять “прежний уровень насилия”». Вот, что на самом деле в книге: «Частновладельческое крепостное право было отменено благодаря отрицательному отношению к нему со стороны верховной власти, церкви и прогрессивной части общества, смягчению нравов, повышению образовательного и культурного уровня населения, пробуждению самосознания у крестьянства и его настойчивой борьбе за свое освобождение, коммерциализации экономики, которая развивала в крестьянине чувство собственности, самостоятельности, открывала ему ценность денег, прививала любовь к экономической свободе» (Миронов, 2015а: 80).

В моем объяснении большей эффективности труда помещичьих крестьян сравнительно с государственными и примерно одинакового уровня их жизни В.В. Керову не кажутся убедительными два моих аргумента: отсутствие различий в среднем росте различных категорий крестьянства и сведения о более высокой производительности рабского труда в США по сравнению со свободным трудом, при этом критик не обосновал

свой скептицизм. Замечу, что многим исследователям мои аргументы представляются серьезными и убедительными, в особенности занимающимся антропометрией или историей рабства и крепостничества.

Критику показалось, что «множество случаев отступления от норм национальной и конфессиональной толерантности» я объясняю исключительно «реакцией российского государства на “враждебность и сепаратизм”». Отсюда ему непонятна репрессивная политика в отношении евреев, не поднявших ни одного восстания, и старообрядцев, представлявших «вполне верноподданническую среду». Мое объяснение всегда многофакторное. Вот лишь несколько цитат из книги, объясняющих правительственную политику в отношении евреев. «При проведении политики интеграции евреев власти столкнулись с противодействием со стороны а) самого еврейского населения, желавшего сохранить традиционные формы организации еврейских общин и как можно больше автономии, б) христианского городского населения, не желавшего участия евреев в органах городского самоуправления, в) русского купечества, недовольного разрешением евреям заниматься предпринимательской деятельностью во внутренних российских городах, г) РПЦ, опасавшейся конкуренции иудаизма по причине якобы присущей ему привлекательности» (Миронов, 2014: 197). «Все усилия властей включить евреев в общий строй российской жизни наталкивались на их упорное сопротивление. Несмотря на все соблазны и притеснения, они не поддавались ассимиляции и не смешивались с окружающим их населением» (Миронов, 2014: 205). «Антисемитизм в России имел общеевропейские корни, и колебания еврейской политики правительства также имели европейское происхождение» (Миронов, 2014: 218). В книге приведено честное объяснение К.П. Победоносцевым официальной точки зрения об изменении еврейской политики известному еврейскому финансисту и меценату барону Морису фон Гиршу, хлопотавшему в 1887 г. об отмене процентной нормы: «Политика правительства исходит не из “вредности” евреев, а из того, что благодаря многотысячелетней культуре, они являются элементом более сильным умственно и духовно, чем все еще некультурный русский народ, – и потому нужны правовые меры, которые уравнивали бы “слабую способность окружающего населения бороться”» (Миронов, 2014: 210).

Трудно согласиться и с тем, что старообрядцы представляли «вполне верноподданническую среду». В старообрядчестве существовало много течений, в том числе беспоповцы разных толков, которые верили в то, что в России воцарился антихрист, благодать священства прервалась, церковная иерархия прекратилась, и по этой причине не признавали царя, царской власти и Православную церковь. Беспоповцы-федосеевцы отрицали моление за царя и даже брак, поскольку считали, что если наступило Царство антихриста, то и продолжение рода человеческого преступно. Беспоповцы-бегуны бежали от мирской жизни, скрываясь от царства антихриста, не имели паспортов, отвергали военную службу, присягу, подати, налоги, некоторые из них отвергали и деньги. Людей с подобными взглядами нельзя считать аркадскими пастушками, в глазах государства они были врагами царя и церкви – и их в конце XIX в. насчитывалось несколько сот тысяч по всей стране. Нельзя забывать, что иногда старообрядцы сами устраивали бунты (Соловецкое восстание в 1668–1676 гг., Московское восстание 1681–1682 гг. и др.) и активно участвовали в восстаниях стрельцов в 1682 и 1689 гг., С. Разина, Е. Пугачева и др.

Наконец, нелояльность к существующему порядку вещей и к власти может выражаться не только в активных, но и в *не менее опасных* пассивных формах.

Мне представляется неадекватной оценка В.В. Керовым дискуссии между мной и оппонентами по вопросу происхождения революций: «Тезисы оппонентов в “имперской” дискуссии (на примере Б.Н. Миронова и В.П. Булдакова. – Б.М.) лишь внешне противоположны. В результате дискуссия оказывается концептуально иллюзорной и различия сводятся в основном к ответу на вопрос с сомнительным академическим смыслом: “хорошо” или “плохо” жили подданные Российской империи, бедствовало или богатело крестьянство, угнетались или гармонично развивались народы и т. п.»

По убеждению огромного большинства историков, ответ на вопрос, «хорошо» или «плохо» жили российские подданные, бедствовало или богатело крестьянство, угнетались или гармонично развивались народы и т. п., имеет огромный академический и практический смысл – это принципиальный вопрос историографии.

Дискуссия – концептуальна и отнюдь не иллюзорна. Уверен, что в этом меня поддержат и мои оппоненты. Я подробно рассмотрел и оценил степень конкретно-

исторических разногласий в своей книге «Страсти по революции», которые объединяются в четыре пункта. Во-первых, В.П. Булдаков сводит революционное движение к стихийному народному бунту и психозу; а я полагаю, что революцию совершил народ, но организовала и подвигла его на это интеллигенция и сплоченная и законспирированная оппозиция. Во-вторых, я не считаю, что последние 300 лет (т. е. вплоть до настоящего времени) Россия находится в состоянии перманентного кризиса и призрак смуты – неотъемлемая черта ее исторического развития; не согласен, что «государство было не в состоянии осуществлять ни планомерное “дисциплинирующее” насилие, ни образовательный “культурный” диктат, но в то же время препятствовало естественному ходу формирования ячеек настоящего общества» и «не выполнило свою цивилизаторскую миссию “подавления аффектов”». В-третьих, полагаю, что в России в начале XX в. существовали основные элементы гражданского общества. В-четвертых, базисные потребности народа в пореформенное время, по моему мнению, более или менее удовлетворялись (Миронов, 2013: 77–92).

В дополнение к сказанному отмечу, что мы придерживаемся различных методологических ориентаций. При объяснении русских революций и общего хода развития России я опираюсь на неозволюционизм, а В.П. Булдаков (сознательно или бессознательно) – на неофрейдизм, или социальный фрейдизм. Я понимаю социальное развитие как естественный рациональный процесс – как усложнение и повышение уровня организации социокультурной жизни, которые ведут к лучшему приспособлению общества к окружающей среде. Адаптационные изменения социальной системы происходят на уровне институтов, технологий, социокультурных процессов, прямо связанных с жизнеобеспечением, и имеют эволюционный смысл. Важной составляющей неозволюционизма является теория модернизации (ее В.П. Булдаков считает устаревшей), объясняющая транзит от традиционного общества к современному. Неозволюционизм допускает существование множества путей социокультурной эволюции, поскольку развитие общества происходит одновременно в результате саморазвития (самостоятельного, независимого развития) и исторических контактов и заимствований.

В основе социального фрейдизма лежат совсем другие идеи – принципиальная и неразрешимая конфликтность личности и общества, иррациональность поведения человека, конфликтность и расщепленность внутреннего мира личности, «репрессивность» культуры и общества, бессознательность эмоциональной мотивации человеческой деятельности. Правда, признавая решающее влияние подсознательного, в том числе сексуальных инстинктов, на поведение людей, они допускают и некоторую роль в этом социальных факторов (социальных связей и отношений между людьми, материальной и духовной культуры) в том смысле, что они влияют на *формы проявления* подсознательного.

Отсюда у В.П. Булдакова поиски «генетических изъянов» Российской империи, стремление найти у всех заметных акторов российской революции комплекс неполноценности, бессознательное стремление к власти и сверхкомпенсацию чувства неполноценности через стремление к превосходству. У него по просторам России постоянно бродит призрак смуты. Идея инстинктивного, аффектированного поведения масс является ключевой в его построениях. Его концепцию революции можно назвать психопатологической. По мнению В.П. Булдакова, «причина российской смуты одна – психоз бунта, вызванный крайней болезненностью бытовых ощущений несовершенства власти». «Восстание масс» объясняется им следующим образом: «разрушение привычной социальной иерархии ведет к увеличению массы психопатических личностей, которые своими действиями окончательно ломают общепринятые нормы социального поведения и освобождают место для “коллективного бессознательного”, проникающего и заполняющего публичную сферу»; а последующее «бегство от свободы» в диктатуру – «физическим выбыванием или дискредитацией “пассионариев” революционной эпохи», что ведет к возобладанию «серой массы», реанимирующей архаичнейшие образцы власти-подчинения» (Булдаков, 2010: 584, 683–684, 609).

В неофрейдистском подходе заключены серьезные потенции для анализа поведения выдающихся исторических акторов и народных масс в революционных событиях. Однако делу использования его идей очень мешает, что один из немногих его сторонников считает своих коллег, особенно придерживающихся иных концепций, «когнитивно беспомощными и недоразвитыми», «инфантильными, самонадеянными, откровенными неучами», «холуями», «вульгарными презентистами», «придворными историографами»; «у них наивное воображение заменяет реалии»; «великовозрастными “детьми застоя”,

одураченными курсами “истории КПСС” и “научного коммунизма”» (Булдаков, 2010: 80–81). При таком отношении у них пропадает желание обсуждать с ним какие-либо научные вопросы.

Отмечу, сам В.В. Керов не преувеличивает негативного значения своих замечаний: «Трехтомник Б.Н. Миронова можно назвать монументальной книгой выдающихся историографических достижений и маленьких историографических огрехов. <...> Главное историографическое значение имеют макровыводы в отношении имперской истории России».

Ответ Л.М. Артамоновой

Дискуссант сосредоточился на двух принципиальных и чрезвычайно важных проблемах – народном образовании и гражданском обществе. В советское время часто цитировали К. Маркса, что самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что, прежде чем строить соты, он «построит их в своей голове». Однако на практике об этом забывали. Культура в советской историографии считалась второстепенным сюжетом и изучалась по остаточному принципу после экономики, классовой борьбы, революционного движения, внутренней и внешней политики. Развитие гражданского общества вообще игнорировалось. Эти просчеты стали исправляться в постсоветское время. Статья Л.М. Артамоновой – замечательный пример работы над ошибками. «Путь к самым разным модернизационным преобразованиям был долгим и нелегким, – справедливо считает она. – Он начинался, конечно, не с реальных административных и законодательных шагов, а с идеальных представлений и перемен в сознании. Это касается и позиции имперской элиты, и “коллективных представлений” различных групп населения». Не стареет максима «Сначала было слово».

Критик сравнивает процессы культурного и социального строительства в общероссийском масштабе, изучаемые в трехтомнике, с провинцией, которую изучает она на примере Самарской губернии, и тем самым как бы проверяет адекватность моих выводов. Большей частью они подтверждаются, в чем-то корректируются – и это очень важный аспект ее статьи, потому что в этом и заключается суть коллективной научной работы в области истории, именно это превращает примерно 40 тысяч профессиональных историков России (Бордюгов, Щербина, 2011: 122) в сообщество. Благодаря такой совместной работе историография «избавляется от кривого зеркала, отражающего историю страны только под углом зрения из столиц».

На мой взгляд, культурный капитал народа – главный фактор развития общества, и мне приятно сознавать, что это заметила и оценила Л.М. Артамонова. От уровня культуры зависит качество когнитивных процессов, система ценностей, горизонт мысли, взгляд на мир, поведение человека в малом и большом. Например, антибуржуазный характер коллективных представлений большинства населения России и ориентация народа на принципы моральной экономики, пришедшие из традиционного общества, сделали широкие массы подверженными социалистическим идеям, порождали напряжение в обществе, чреватое революциями. Именно поэтому культурный капитал – системообразующий стержень моей книги, и о нем говорится во всех главах.

Основываясь на провинциальном материале, Людмила Михайловна поддержала и другую принципиальную идею о том, что верховная власть являлась лидером модернизации России, в том числе в сфере культуры. Она выступает против мифа о враждебности царизма просвещению и соглашается со мной, что правительство в своих усилиях по поддержке народного образования всегда немного забегало вперед, несколько опережая стремление к образованию широких слоев населения, а до второй половины XIX в. «намного опережала потребности и инициативы общественных групп».

Предложение критика перенести время начала вмешательства государства в культурно-воспитательную функцию деревенского мира с пореформенной эпохой на царствование Николая I мне представляется резонным. Действительно, киселевская реформа государственной деревни затронула народное образование, но по причине сопротивления крестьянства результаты оказались скромными.

Вопрос о времени введения в учебных заведениях в качестве обязательного предмета Закона Божьего, поднимаемый дискуссантом, нуждается в дополнительном изучении. В литературе высказаны разные мнения. В церковно-приходских школах, появившихся в начале XVIII в., Закон Божий всегда был в программе, а в тогда же открытых «цифирных»,

«математических» и «навигацких» школах его преподавание не предусматривалось. Но в 1720 г. архиепископ Феофан (Прокопович) написал первый катехизис, и Петр I повелел ввести его в школьное и частное обучение, а для народа читать по церквам. Был ли исполнен указ Петра – вопрос открытый. Елизавета Петровна вспомнила о петровском повелении в 1743 г., но вопрос о его воплощении в жизнь также остается открытым. В.М. Бычкова утверждает, что Закон Божий был введен в учебную программу школ только в 1774 г. (Бычкова, 2009: 12). Разногласия связаны с тем, что время, как правило, устанавливается на основе законов и постановлений, которые во многих случаях были сепаратными, не всегда и плохо исполнялись и потому часто повторялись. Кроме того, система народного образования сложилась только в 1800-е гг., после создания Министерства народного просвещения, которое провело коренную реформу. До этого времени преподавание Закона Божия регулировалось сепаратными постановлениями. Например, в 1731 г., при открытии Шляхетского корпуса, преподавание Закона Божия не было предусмотрено, а введено через 35 лет, в 1766 г. Поскольку сеть гимназий возникла в 1800-е гг., то и введение Закона Божия в программу не могло произойти раньше 1811 г. (по другим сведениям – в 1819 г. (Бычкова, 2009: 14)).

Вопросы развития народного просвещения, справедливо отмечает Л.М. Артамонова, тесно смыкаются с проблемой становления гражданского общества. Она обнаружила в Самарской губернии в середине XIX в. добровольные общественные организации, возникшие по указанию сверху и при содействии губернской администрации. Но в отличие от столиц и университетских городов в их деятельности, как правило, участвовали в основном люди чиновные и лишь отдельные частные лица. При создании всех этих «вольных», «императорских» и прочих научных, просветительских, культурных учреждений, признает дискуссант, верховная власть часто не имела в виду стимулирование самодеятельной общественной активности, а стремилась содействовать национальному развитию и продемонстрировать перед всем миром, что она осуществляет «просвещенное правление». Деятельность добровольных ассоциаций ни в просветительской, ни в иной области также никогда не оставались без контроля властей, хотя и в различной степени. Она соглашается со мной, что гражданское общество к 1917 г. в общих чертах сформировалось.

Критик приводит интересные факты провинциальной общественной самодеятельности: например, как гражданское общество действовало не только в городе, но за городскими заставами, правда силами городских добровольных обществ. Масштаб борьбы с последствиями неурожая 1911–1912 гг. свидетельствует, по ее мнению, о возникновении сетей общественной коммуникации на межрегиональном уровне. В деле становления гражданского общества подчеркивается большая роль периодической печати, особенно местной, хотя та и возникала повсеместно по распоряжению властей и первоначально входила в систему органов управления в виде газеты при губернской администрации. «Разница в состоянии общественной активности между первыми десятилетиями XIX в. и началом XX в. выглядит настолько разительной, – отмечает Л.М. Артамонова, – что, кажется, речь идет о разных городах и даже странах».

Дискуссант полагает, что я преуменьшаю силу «общественности» или «организованного общества» в XVIII – первой половине XIX в., оцененную по численности людей, с которыми считалась верховная власть при принятии решений, ввиду качественного изменения состава общественности. «Организованное общество», принимавшее Соборное Уложение и знакомое лишь с редкими печатными изданиями церковного содержания, качественно отличалось от «общественности», обсуждавшей и поддерживавшей Великие реформы, читавшей Пушкина и Гоголя, «Отечественные записки» и «Современник». Вопрос непростой. При решении его, конечно, надо учесть не только численность, но и качество общественности. Однако надо также принять во внимание и возросшую в 7 раз силу бюрократии (число чиновников на 1000 человек населения возросло с 0,23 в 1647 г. до 1,65 в 1857 г. (Миронов, 2015а: 431)), и степень общественной активности, и усиление в XVIII – первой половине XIX в. крепостного права, и существенное увеличение процента закрепощенного населения. Оставим эту проблему исследователям, которые найдут в себе силы и желание ее удовлетворительно разрешить.

В заключение отмечу одну симпатичную мне особенность научного стиля Л.М. Артамоновой. Она спокойно принимает какие-либо расхождения между моими и своими наблюдениями, так как понимает, что мои данные относятся, как правило, ко всей

стране, а ее – к отдельной губернии и потому нестыковки неизбежны. Многие историки этого не понимают и, обнаружив несогласия, даже если их данные относятся к одному уезду, городу или даже селу, громко вопиют о моей ошибке и неправоте.

Ответ А.Б. Лярскому

В статье ставятся амбициозные задачи: «обсудить границы и возможности применения клиометрического подхода», оценить мой вклад в изучение исторической психологии, а также разобраться с «клиотерапией» «как способом осознания исторического процесса».

«Как и многие критики Б.Н. Миронова, я не сомневаюсь в достоверности его вычислений. Меня больше *настораживает* следствие из авторского клиометрического приоритета и это следствие – *небрежность к языку выводов* (курсив мой. – Б. М.)», – печалится А.Б. Лярский. На конкретных примерах он доказывает, как ему кажется, «небрежность», т. е. мою невнимательность, халатность, нерадивость, недобросовестность, неаккуратность в выводах. Рассмотрим эти примеры.

Калмыцкий прецедент. На основании отраслевой занятости самодеятельного населения (по данным переписи 1897 г.) я пытаюсь определить *относительную* активность представителей каждого этноса в разных сферах социальной жизни. Оказалось, что самыми активными в управлении и в армии были русские, в церковных делах – калмыки, в свободных науках и искусствах, а также в накоплении капитала – немцы, в торговле и финансах, на транспорте и коммуникациях, а также в промышленности – евреи и т. д. Дискуссанта поразила калмыцкий приоритет в церковных делах. Он объясняет его вмешательством российского законодателя: «По всей Монголии и у чжунгаров посвящение в высшую степень гэлунга составляет явление довольно редкое, потому что требует согласия целой монастырской общины, каждый член которой самостоятелен; у калмыков с предоставлением всего дела избрания и посвящения в гэлунга единой личности ламы (что явилось следствием действия имперского законодательства. – А. Л.) все исполняется гораздо проще. Лама посвящает каждого или по его просьбе, или даже по своему личному желанию...» Отсюда делается вывод: «Говорить без дополнительных комментариев о том, что наиболее активны в церковной жизни были калмыки, – это значит повторить ошибку российских чиновников, организовавших буддизм наподобие православной иерархии, и, кроме того, создавать не соразмерную реальности картину».

Опыт управления этноконфессиональным разнообразием в Российской империи свидетельствует: чиновники могли *формально* провозгласить, но отнюдь не навязать калмыцкому или любому другому народу новые нормы в религиозной жизни, если они не соответствовали его желаниям и потребностям. Миссионерство Русской православной церкви среди мусульман, католиков, протестантов и даже старообрядцев это с очевидностью показывает. Причина в том, что религия в изучаемое время являлась культурно образующим принципом и ключевым признаком этнической идентификации. Бюрократия, как показано в моей книге, была слабая, в этноконфессиональных окраинах могла проводить свою политику, как правило, только при поддержке местных элит. Конфессиональная политика отличалась толерантностью, в особенности в отношении к буддистам, лояльным к центральной власти. Разрешение ламам посвящать в гэлунга находилось в этом русле – привлечь их на сторону коронной администрации. Кроме того, численность духовенства существенно зависела от материальных возможностей населения его содержать. Если их не хватало, ни кнут, ни пряник помочь не могли, особенно в долгосрочной перспективе.

Цель моего тезиса, подвергаемого критике, состояла исключительно в том, чтобы определить, в какой степени представители различных этносов были заняты в престижных сферах деятельности в конце XIX в. – в управлении, армии, церкви, науке и культуре – и на этом основании выяснить: не было ли этнической дискриминации. Я четко и ясно объяснил методику расчета и указал источники. При этом меня не интересовало, как, когда и почему – в силу обычая, необходимости, закона, склонности – сложилась подобная структура занятости данного этноса. Как, когда и почему – безусловно, важные вопросы, но они выходят за пределы поставленных мною целей и задач. Однако по правилам научного жанра я обязан был от них абстрагироваться, что и сделал. Здесь нет и толики небрежности. Приведенных данных достаточно для вывода, что наиболее активны в церковной жизни были калмыки, естественно в пределах ареала их проживания.

А вот критик допускает настоящие небрежности содержательного, методического и стилистического характера. Он не понял цель моих расчетов – определить, в какой степени представители различных этносов были заняты в престижных сферах социальной жизни, и методике, как эту активность оценить. И потому заблуждается, когда пишет: «Если бы в соответствующем ключе (т. е. следуя моей методике. – Б. М.) были учтены народы, которые практиковали так называемый домашний шаманизм, то чукчи по активности “церковной жизни” калмыкам бы фору дали». Если действовать по моей методике, то следовало определить число *профессиональных* шаманов – людей, являвшихся, по мнению чукчей, посредниками и избранниками духов, обладающими способностью видеть иную реальность и путешествовать в ней, между тем как *домашний* шаманизм – это самодеятельность, не имевшая общественного звучания, это имитация работы профессионального шамана, проявление религиозного энтузиазма и большого желания стать настоящим профессиональным шаманом. До трети чукчей, мечтая стать профессиональными шаманами, воображали себя таковыми и пытались на домашних сеансах продемонстрировать обладание шаманскими способностями. Если следовать подходу Лярского, то для русских надо было определить число людей, которые молились дома, в то время как по моей методике надо оценивать численность профессионального духовенства. «Ину пору, не поглядев в святцы, да и бух в колокол, оно и некстати».

С буддизмом тоже не все гладко. Гэлун – это третья монашеская степень в ламаизме. Упрощение властями процедуры ее получения не могло увеличить численность монахов и «создавать не соразмерную реальности картину», как думает критик, а лишь могло повлиять на структуру монашества. Следующая небрежность. У всех буддистов всегда много монахов, примером чего служат страны, где буддизм является господствующей религией, – Бирма, Камбоджа, Лаос, Таиланд. Царское законодательство в этом отношении ничего не изменило, что было естественным следствием толерантного отношения ко всем религиям как принципа этноконфессиональной политики. Ввиду этого утверждение, что «российские чиновники организовывали буддизм наподобие православной иерархии», действительно создает не соразмерную реальности картину и требует серьезных аргументов и объяснений. Еще одна небрежность. Чтобы говорить о том, что предоставление всего дела избрания и посвящения в гэлуну единой личности ламы повлияло на численность буддийского духовенства, необходимо было выяснить: была ли привилегия, дарованная ламам, правом или обязанностью, как ламы воспользовались своим правом и воспользовались ли вообще, как отнеслось население к нововведениям? Но критику даже в голову не приходят эти вопросы.

Между тем «калмыцкое дело» обобщается дискуссионтом до глобального императива: «Урок, который можно извлечь из этого “калмыцкого дела”, довольно банален и прост: *каждое масштабное исследование, построенное на массовых количественных данных, необходимо и обязательно должно полагаться не столько анализом других массивов количественных данных, хотя бы даже и с корреляционными вычислениями, а только качественным микроисследованием, иначе друг степей навсегда станет образцом церковного бытия*» (выделено мной. – Б. М.). К сожалению, урок состоит совсем в другом.

Прежде всего непонятно, почему буддист и «друг степей калмык» не может быть образцом церковного бытия. Априорное сомнение в религиозной ревности калмыков говорит о недостатке политкорректности, может быть, опять по небрежности. Но самое важное – критик делает две методологические ошибки.

Настоящий количественный анализ в любом исследовании, будь то микро- или макроисследование, без качественного анализа в принципе невозможен, более того качественный анализ предшествует количественному. Для того чтобы что-нибудь элементарно посчитать, надо четко определить смысловые единицы или объекты счета (единицы) счета (Миронов, 1991: 28–29). Сложному количественному анализу «с корреляционными вычислениями» предшествует составление программы исследования, которая включает: 1) определение проблемы, предмета и объекта исследования; 2) определение цели и задач исследования; 3) эмпирическую и операционную интерпретацию основных понятий; 4) предварительный системный анализ объекта исследования; 5) определение основных процедур сбора и анализа данных. Как видим, составление программы – это серьезный качественный анализ (Миронов, 1984: 9–39).

Необходимость сочетания качественного и количественного анализа – это действительно общее место в методологии социальных наук. Но совсем не в том смысле, какой вкладывает в него критик. Неверно думать, что только качественное микроисследование может проверить любое макроисследование, построенное на массовых статистических данных. Одно микроисследование не может проверить макроисследование, потому что говорит только об одном, частном, индивидуальном, оригинальном случае, а макроисследование – о типичном, общем и закономерном. Только с помощью макроисследования можно открыть закономерности и тенденции в изучаемом явлении. Но эти закономерности и тренды отчетливо проявляются лишь в достаточно большом числе наблюдений, а в единичных случаях (в отдельные годы, в отдельных приходах, селениях, семьях и т. п.) они *могут* нарушаться и не обнаруживаться (подчеркиваю – не обязательно, а, возможно, потенциально). Например, если бросать монету случайным образом много раз, то окажется, что в 50 % случаев она падает на орла и в 50 % случаев – на решку. Если бросить четыре или шесть раз, то маловероятно, что ровно в половине случаев она упадет на орла и в половине случаев на решку – в этом состоит так называемый закон больших чисел.

Количество случаев индивидуальных отклонений от закономерности зависит от числа статистических данных (от величины выборки), на основании которых обнаружена закономерность. Грубо говоря, закономерность будет нарушаться в пяти случаях из 100, если была обнаружена на основании большой выборки, в 33 из 100 – если обнаружена на основании средней выборки, и всего в нескольких случаях – если обнаружена на основании малой выборки. В этом принципиальное отличие социальных явлений, между которыми закономерности носят вероятностный характер, от природных (биологических, физических и т. п.), между которыми связь однозначная, или функциональная. Капля дождя всегда упадет на землю, а водитель, нарушающий правила движения, не всегда попадет в аварию – это будет зависеть от его опыта, обстоятельств, пешеходов и других водителей. Но злостный нарушитель в конце концов попадет в аварию, и в этом проявится закономерность – нарушение правил движения ведет к аварии. Полноценное и масштабное макроисследование может проверить не одно, а два-три десятка, а может быть, и больше микроисследований – это зависит от проблемы и масштаба.

Полагая, что только качественное микроисследование может проверить любое макроисследование, А.Б. Ляровский отождествляет (как и большинство историков) индивидуальное с типичным, потому что забывает или не знает о законе больших чисел и о вероятностном характере закономерностей в социально-экономической жизни. Конечно, закон больших чисел, статистические закономерности или единство качественного и количественного анализа – это из области философии количественного анализа. Незнание и игнорирование их историками можно объяснить особенностями исторического образования. Хотя уже много лет на исторических факультетах университетов читаются курсы статистики или количественных методов в истории. Возможно, и критик слушал подобный курс.

Итак, макроуровень выявляет тенденцию развития в социуме или большой группе, микроуровень – индивидуальную реализацию тенденции. На макроуровне плохо или совсем не видно деталей и потому нельзя упрекать исследователя в их искажениях. Точно так же, как на микроуровне не видно тенденции – если она не обнаружена, нельзя упрекать исследователя в том, что она не обнаружена или неточно идентифицирована. Макроуровень и микроуровень – это разные проекции одной реальности, они по-разному изучаются, и результаты их правильного анализа не во всем совпадают, а нередко на первый взгляд выглядят даже противоречащими.

И, наконец, приведу наглядный пример (один из многих) «небрежности к языку выводов». Дискуссант пишет: «Безусловно, результаты, полученные Б.Н. Мироновым, во многих случаях требуют не столько погромных интонаций в голосе критиков, сколько дополнительной работы по их интерпретации». Отсюда следует, что иногда «погромные интонации в голосе критиков» все же требуются. Зная А.Б. Ляровского лично, полностью исключаю подобную возможность интерпретации этих слов. Предполагаю, что, говоря о «небрежности к языку выводов», критик имел в виду не халатность и недобросовестность, а неполноту, незавершенность интерпретации, что, согласитесь, не одно и то же. Опять небрежность?!

Дискуссант обнаруживает и другие случаи моей «небрежности». «Б.Н. Миронов в качестве источника для выяснения крестьянских коллективных представлений использует пословицы и поговорки, но делает это довольно непоследовательно: так, паремии являются основным источником для крепостного периода, однако, когда автор изучает коллективные представления крестьян пореформенного времени, поговорки почему-то не используются: Б.Н. Миронов явно отдает предпочтение статистике кредитных сделок. Если бы он использовал более поздние сборники пословиц и поговорок, изданные в конце XIX – начале XX в., то он, возможно, обнаружил бы, что текстуальные совпадения слишком велики, чтобы говорить о динамике в коллективных представлениях на основании паремий, а это значит, что либо эти представления не менялись, либо пословицы не несут необходимой нам информации».

Культурологами, социальными антропологами и фольклористами считается, что пословицы достаточно удовлетворительно отражают коллективные представления в *бесписьменном* и традиционном обществах с устной по преимуществу культурой и неграмотным населением. В обществах модерна, а также в переходных от традиции к модерну их значение падает. Поэтому мне пришлось обратиться к другим источникам, но отнюдь не отдавая «явного предпочтения статистике кредитных сделок», – использовалась публицистика и беллетристика, материалы различных правительственных комиссий, лубочная народная литература. Несмотря на это, было бы интересно сравнить корпус пословиц середины XIX в. и начала XX в., и я такую работу попытался сделать. К сожалению, в пореформенное время фольклористы не создали что-нибудь подобное известному сборнику пословиц и поговорок В.И. Даля (включающему около 30 тыс.). То, что собрали, не обобщено должным образом. Для такой работы нужен не только феноменальный талант выдающегося ученого, но и много времени и коллектив исследователей.

Пословицы – настолько часто используемый источник для характеристики народных представлений, что, на мой взгляд, не было нужды в очередной раз объяснять в *историческом сочинении*, почему это возможно делать, что является отражением нормы – то, что мы говорим, или то, что мы делаем, почему у разных народов некоторые пословицы совпадают и что это означает. Кроме того, в других главах книги обстоятельно изучена и объяснена, в меру моих сил конечно, социально-экономическая практика крестьянства, которая подтвердила выводы, полученные на основании анализа половиц. Другими словами, я исследовал, и что крестьяне говорили, и что они делали. Если на мою книгу смотреть системно и в целом, то, предполагаю, не должно возникнуть вопроса о неадекватности сделанных выводов. Хотя, разумеется, пределов для расширения источниковой базы и для уточнения выводов нет.

Критик обнаруживает «небрежность» и в моем контент-анализе содержания «Нивы» (самого популярного среди интеллигенции России в 1870–1918 гг. «тонкого» еженедельного журнала либерального направления). На мой взгляд, такой анализ дает адекватную оценку коллективных представлений интеллигенции. А.Б. Лярский же считает, что «журнал скорее отражал вкусы мелкой городской буржуазии, мещанского сословия – тех, кого мы сейчас назвали бы носителями массовой культуры». Это означает, что журнал отражал вкусы полуграмотных и неграмотных мещан, ремесленников и крестьян, которые в огромном большинстве журналы не покупали и не читали. Вывод критика, ни на чем не основанный, звучит как-то по-марксистски просто. На самом деле читателями журнала были интеллигентные люди с доходами существенно выше среднего, с высшим и средним образованием (в 1897 г. в европейских губерниях их насчитывалось всего лишь соответственно 111 тыс. и 663 тыс. на 48 млн населения в возрасте 20 лет и старше). Их следует считать носителями не массовой, а скорее элитарной культуры привилегированных групп общества. Поскольку в 1900 г. тираж журнала достиг 235 тыс. экземпляров, он был практически в каждой интеллигентной семье. Столь большой тираж объяснялся тем, что взгляды, выражаемые в журнале, находили поддержку его читателей, т. е. интеллигенции, а не мелкой городской буржуазии и мещанского сословия.

По мнению дискуссанта, биографические тексты, и более всего некрологи и юбилейные статьи, написанные по заказу, могли отражать не коллективные представления, а «идеализированную самопрезентацию буржуазного городского сообщества, вполне совпадающую с культурой буржуазной этики». Но это и есть искомое – коллективные представления, но только не полуграмотных мещан, ремесленников и крестьян, едва

умевших читать, а русской интеллигенции, а также образованной части средней и крупной буржуазии. То, что повседневная практика не всегда соответствовал идеалу, – аксиома. Однако нас в данном случае и интересовали именно идеальные коллективные представления. Не знаю лучшего источника для реализации поставленной задачи, чем биографические тексты самого популярного журнала. Нужно ли привлекать другие источники? Разумеется, нужно. Но пусть мои выводы подвергаются сомнению апостериори, а не априори, как делает А.Б. Лярский. Как говорится, «я сделал что мог; кто может, пусть сделает лучше».

Основываясь на экспериментах и наблюдениях психологов и социальных психологов и анализе исторических материалов, я делаю следующий вывод: «Психологи установили: малообразованные люди легче поддаются внушению и, значит, манипулированию. <...> Кроме того, малообразованный человек легче подчиняется авторитетам; мыслит стереотипами; навязываемые ему стереотипы усваивает бессознательно, дорефлексивно и очень прочно. Благодаря этому сообщество малограмотных людей с одной стороны, твердо поддерживает существующий общественный порядок, с другой – легко поддается воздействию пропаганды, агитации и пиару, что повышает вероятность манипулирования. Это классически проявилось во время революций 1917 г.» (Миронов, 2015b: 534). Критик сомневается. «Вопрос, который ставит в этом случае перед нами история XX в., прост: что делать с историей Германии, население которой, по крайней мере по сравнению с Россией, никак не назовешь малообразованным? Или понятие “малообразованный” надо толковать расширительно, или надо обратиться к тем авторам, которые утверждали, что в третьем рейхе реализуются очень архаичные структуры мышления европейца – не знаю, но проверку эта взаимосвязь “малообразованность – манипулирование – революция” явно требует не только на русском материале».

Германия – не основание для сомнения в моем выводе, потому что я не говорю, что неграмотность – единственное условие для манипуляции. Нужно искать объяснения немецкому варианту манипулирования, а не бросать тень сомнения на мой вывод. В Германии были другие, сравнительно с Россией, предпосылки, о которых, предполагаю, знает и дискуссант. Как известно, манипулировать легче не только малообразованными, но и обиженными, оскорбленными, нуждающимися, вообще людьми, находящимися в стрессе и т. д. Германский опыт XX в., как и все варианты манипулирования человеком во всех странах и во все времена, требуется изучать. Но эта задача большого специального сравнительного исследования, а не моей книги, о которой идет речь. Причем выводы подобного исследования подорвут мое заключение только в том случае, если будет доказано, что неграмотность не влияет на степень податливости манипулированию.

Иногда, казалось бы, очевидные и доказанные в науке тезисы, вызывают у А.Б. Лярского сомнения. «Не понятно, как можно говорить о том, что “устная трансляция культуры ориентирует человека *на простое воспроизводство* того, что он слышал, запомнил, чему научился от предков”, если весь опыт фольклористики говорит нам о динамичном и творческом характере устной культуры?» (курсив мой. – Б. М.). Антропологи и фольклористы обнаружили, что в архаичных и традиционных обществах изменения в фольклоре происходили очень медленно, на протяжении больших отрезков времени. Культурологи говорят, что «устная традиция как форма передачи культурного опыта доминирует в архаичных, бесписьменных обществах. Возможности для сохранения, приращения, систематизации культурной информации с появлением письменности возрастают неизмеримо. Дописьменные общества – это народы без истории, потому что у них непрерывно идет “гомеостатический процесс забывания и трансформации”, в результате которого сохраняется исключительно то, в чем есть нужда в данный момент» (Матецкая, 2006).

Не буду приводить другие возражения А.Б. Лярского аналогичного рода. Он неутомим. Иногда кажется, что о себе он мог бы сказать: «Сомневаюсь, следовательно, существую». Он постоянно настороже – о чем трижды в коротком тексте уведомляет читателя. Правда, и читателя настораживает априоризм критика – уже в начале своей статьи он признается, что «все сомнения, высказанные в адрес предыдущих работ автора, *безусловно*, сохраняются, как сохранились они у меня» (курсив мой. – Б. М.). Почему безусловно? Ведь, по словам критика, «в текст введены новые сюжеты, и их количество довольно велико – фактически весь третий том, не говоря уже о значительно расширенных главах первого и второго

томов». Критик безусловно уверен в своей правоте?! Или на него безусловно не действуют аргументы и безусловно не производят впечатление новые материалы?!

В научной критике все возражения, сомнения и вопросы к проведенному анализу должны иметь основания. В противном случае рождается нигилизм, бросающий тень на качество проведенного исследования. И тогда никакие оговорки не помогают: «Но благодаря тому, что работа Бориса Николаевича проведена и проведена так качественно на макроуровне, возможно и декларированное мною углубленное понимание реальности на микроуровне». Но, может быть, все это небрежности языка выводов?!

Ответ Ю.В. Веселову

Область интересов дискуссанта – экономическая социология. Естественно, что его пристальное внимание привлек очерк, посвященный питанию, которое он анализирует в контексте модернизации. По его мнению, в современной историографии очерк дает самый комплексный, системный, полный, компетентный и объективный анализ истории питания; особенно важно, что в его проблематику включена оценка достаточности потребления и влияние питания на социальное здоровье. Критик дотошно анализирует методику этой оценки и приходит к выводу, что она вполне соответствует современным требованиям. В силу этого он считает убедительными два моих принципиальных вывода: (1) питание городского и сельского населения в целом в период империи можно считать более или менее удовлетворительным; (2) оно испытало модернизацию, как все процессы и явления, проходившие в империи: потребление росло и становилось более разнообразным, стабильным и обильным благодаря прогрессу в производстве, хранении, обмене и транспортировке продовольствия. В ходе модернизации частота голодных лет и продолжительность периодов голодовок сокращались, что приводило к сглаживанию пиков колебаний в потреблении продуктов питания, причем прогрессивные изменения происходили в потреблении всех классов, но в разной степени – они затронули в большей мере городское население – к 1915 г. это 15 % населения страны. Только удовлетворительное народное потребление могло обеспечить расширенное воспроизводство населения и соответствующий ему уровень общественного здоровья. По мнению Ю.В. Веселова, феноменальный рост численности населения империи (с 1646 по 1914 г. оно выросло в 10,4 раза (с 7 млн до 73 млн) в границах 1646 г.) подтверждает адекватность моего вывода.

Веселов подчеркнул, что изменения в структуре питания россиян были аналогичные тем, которые происходили во всех европейских странах, и что России удалось избежать участи стран, попытавшихся быстро перейти к моноспециализации сельского хозяйства. «Шоковая модернизация традиционного сельского хозяйства чревата проблемами». Например, переход Ирландии на выращивание картофеля сопровождался голодовками, когда из-за болезней в одночасье погибал весь урожай; в странах Центральной и Южной Европы чрезмерное распространение кукурузы и повсеместное использование ее в пищу привело к массовым заболеваниям пеллагрой, которая двигалась следом за распространением кукурузы, начиная с 1730–1740-х гг. и до окончательного ее закрепления на европейских полях после голода 1816–1817 гг. В испанской Валенсии выращивание в больших количествах риса привело к эпидемиям малярии.

На взгляд дискуссанта, сравнение приведенных в книге данных о потреблении алкоголя в имперской и современной России и в зарубежных странах позволяет усомниться в мифе о пьяной России: всех алкогольных напитков в переводе на чистый (96 %) спирт потреблялось в 1913 г. 3,1 л, в СССР в 1987 г. – 4,4 л (меньше, чем в остальной Европе), в РФ в 2010 г. – около 18 л, в 2015 г. – 13,5 л. Привычка много пить, получается, новая, постсоветская, а в последние годы все большее число людей от нее отказываются.

Ю.В. Веселов подчеркивает важное значение собирательства в обычном питании крестьян – на каждом столе грибы, ягоды, фрукты, орехи – традиция до сих пор сохранившаяся. По оценкам экспертов, всего в современной России собирается в год в лесах более 150 тыс. т грибов и 375 тыс. т ягод ([Аргументы недели, 2016: 7](#)), до 1917 г., очевидно, собиралось больше.

По мнению критика, следовало указать на следующую особенность потребления русских и всех православных людей – у них не было абсолютно запрещенных продуктов, как в системе халяльного у мусульман или кошерного питания у евреев. Упущением в анализе в данной главе является также недостаточное внимание к неурожаем, голодовкам и их социальным последствиям. Соответствующие данные приводятся в других главах, а в

подразделе о потреблении, где бы они были наиболее уместны, о них даже не упоминается и не сделана перекрестная ссылка. Но данные о том, что пики смертности совпадали не с пиками повышения цен, а с распространением инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний, убеждают критика в том, что не голодовки являлись главной причиной высокой смертности крестьянства и населения России в целом.

Как социолог, Ю.В. Веселов отметил зафиксированную мною социальную, гендерную и детскую дискриминацию в сфере питания не только крестьян, но и горожан – в первую очередь и лучше кормили мужчин-работников, потом женщин и детей. Однако «социальное расслоение деревни в процессе потребления продуктов питания не так велико, как нас учили в советское время», даже среди привилегированных слоев избыточностью страдала относительно небольшая по численности группа населения. Удивился Веселов и тому, что «не отличался особой роскошью даже царский стол, по крайней мере о пирах Гелиогабала и других римских императоров можно не вспоминать. ...Дневное меню семьи Николая II ничем не лучше меню современного отеля all inclusive».

Ответ А. Ю. Морозову

Статья посвящена на первый взгляд частному, но очень важному вопросу – оценке роли дворянского самоуправления в истории России. Вопросу важному потому, что самое влиятельное сословие до 1861 г. шло в авангарде борьбы за сословные права, а после 1861 г. – за политические и гражданские права. И если дворянское самоуправление было слабым, то трудно говорить о сильном сословном самоуправлении крестьянства и городского сословия и о развитии гражданского общества. На мой взгляд, дворянское самоуправление имело юридическое основание и фактически существовало с 1785 г., благодаря чему каждое дворянское общество представляло собой сложившийся элемент гражданского общества. По мнению критика, в первой половине XIX в. «с сугубо юридической точки зрения» есть основания для вывода о росте самостоятельности дворянских собраний, но вопрос о том, в какой мере на практике реализовывались эти возможности, нуждается в дальнейшем изучении. Однако элементом гражданского общества, по его мнению, дворянское общество стало только в пореформенное время.

В историографии по этому вопросу также нет единого мнения. Причины расхождений по большей части состоят не в правоте одних и неправоте других исследователей, а главным образом в том, что между губерниями существовали значительные расхождения в численности, структуре и состоятельности дворянства, во времени устройства сословного самоуправления и в степени контроля над ним со стороны коронных властей. Как показано в моей книге, причины региональных различий состояли в лакунах и нечеткости отдельных юридических норм, в недоуправлении и слабом контроле со стороны центральных коронных властей, в наличии элементов самоорганизации, в соотношении сил между сословными дворянскими и коронными властями, в медленных и слабых информационных потоках (Миронов, 2015а: 281–299).

А.Ю. Морозов не уверен, что юридических оснований для дворянского самоуправления в первой половине XIX в. было достаточно. В то же время он считает, что после 1861 г. эти основания остались прежними, но влияние дворянских обществ существенно возросло. Значит, и до 1861 г. закон позволял самоуправлению и дворянским обществам быть работающими и действенными. Но юридический критерий – узкий и неадекватный. Критик указывает, что коронная администрация обходила юридические ограничения, однако известны случаи, когда и дворянство в свою очередь обходило ограничения на их самодеятельность. Четкость и прописанность в законе процедуры – важный аспект, но не главный. Нередко обычай и традиции сильнее закона. Писаного текста английской конституции не существует; нет даже точного перечня документов, которые бы к ней относились. Конституция состоит из некодифицированных законов, прецедентов и конституционных обычаев, которые определяют порядок формирования и полномочия органов государства, принципы взаимоотношений государственных органов между собой, а также государственных органов и граждан. Однако Британия считается образцом демократии.

Вопрос, таким образом, сводится к тому, как было на практике. В качестве критериев действенности дворянского общества обычно используются два: влияние дворянства на местную коронную администрацию и степень ее вмешательства в дворянское самоуправление. Мы имеем три набора свидетельств на этот счет: первый говорит, что

самоуправления фактически не существовало, второй – что оно было де-факто, третий – что было де-юре. По мнению дискуссанта, я привел недостаточно свидетельств в пользу наличия самоуправления в первой половине XIX в. Однако его вывод основывается на одном подразделе из 7-й главы «Община и самоуправление» (Миронов, 2015а: 281–298), между тем как этом вопрос анализируется еще в четырех главах: в главе 2 «Социальная стратификация и социальная мобильность» (Миронов, 2014: 323–504), в главе 6 «Крепостное право: от зенита до заката» (Миронов, 2015а: 9–132), в главе 8 «Государственность и государство» (Миронов, 2015а: 345–685), в главе 9 «Общество, государство, общественное мнение» (Миронов, 2015а: 687–890). Приведу несколько примеров.

Реальное влияние дворянства на местную коронную администрацию превышало юридические возможности, которые давала ему Жалованная грамота, благодаря тому, что именно правовое оформление губернского дворянского общества создало общественное мнение, с которым считалась и местная коронная администрация, и верховная власть (Миронов, 2015а: 759–775). В 1830-е гг. трое симбирских губернаторов подряд были вынуждены оставить свой пост из-за неуважительного отношения к мнению местного дворянства, что в законе не прописывалось (Миронов, 2015а: 769). Если это стало возможным в одной губернии, то могло происходить и в других. И действительно. А.И. Герцен, имея в виду первую половину XIX в., писал: «Власть губернатора растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири». Автор приводит примеры, как местное дворянское общество сопротивлялось произволу местной коронной администрации и добивалось устранения неудобных администраторов, включая губернаторов, чего в Жалованной грамоте не предусматривалось.

М.М. Сперанский в бытность свою сибирским генерал-губернатором провел ревизию управления в 1821 г. и обнаружил вопиющую картину злоупотреблений. Главную причину беспорядков он усматривал в отсутствии общественного мнения, носителем которого, на его взгляд, являлось дворянство.

Современник и знаток административных порядков первой половины XIX в. известный юрист А.В. Лохвицкий делил российские губернии с точки зрения административных злоупотреблений на дворянские и чиновничьи, т. е. такие, где имелись или отсутствовали дворянские общества. В чиновничьих губерниях произвол чиновников не встречает себе препятствий: «Нет общественного мнения, нет важных должностей, занятых по выбору дворянства, нет общества. Наша жизнь еще не выработала сильного и образованного класса вне дворянства». И само дворянское общество, и коронная администрация считали дворянские собрания рупором общественного мнения. «Дворянство сделалось некоторым образом легальным представителем губернии в противоположность губернатору как представителю государства. <...> Поэтому там, где не было дворянства, общества не существовало: были только чиновники и безличная масса, в которой и городское сословие было мужицким. Такой тип представляют губернии сибирские, Олонецкая, Архангельская и отчасти другие. Карта крепостного населения (и, следовательно, распределения поместного дворянства. – Б. М.) дает довольно верное понятие об общественной силе различных губерний» (Миронов, 2015а: 769–770). В современной историографии точка зрения о большой роли местного дворянства в местном управлении, способного убрать неудобного губернатора, находит подтверждение.

Относительно абсентеизма. Нет сомнения в факте масштабного распространения абсентеизма, но его степень и важность преувеличиваются. Дворянство становилось активным участником дворянских собраний, когда в повестке дня стояли его коренные сословные интересы, а в остальное время проявляло индифферентность. Отсюда волнообразность его активности. Само создание дворянской корпоративной организации в 1785 г. вызвало прилив энтузиазма и высокую активность. При Павле I активность резко упала, вновь выросла в начале царствования Александра I, снизилась при Николае I и вновь повысилась при Александре II во время подготовки и проведения крестьянской реформы. Если определять активность дворян на выборах, исходя из числа тех, кто реально имел избирательные права, а не общего числа дворян в уезде, то получается, что в периоды понижения активности, например в 1820-х гг., принимали участие в выборах около 25–30 % дворян, а в период высокой активности, например во второй половине 1850-х гг., – до 60 %. Для сравнения, в Российской Федерации в 2009–2012 гг. в среднем явка на выборах в

городские советы составила 37 %, в региональные парламенты – 45 %, в Государственную думу – 60 %, на выборах мэров – 40 %, президента РФ – 63 %. При этом явка на всех выборах варьировалась в широких пределах: от крайне низких (13 % на муниципальных выборах, 29 % на региональных и 43 % на федеральных) до крайне высоких (96 % на муниципальных и региональных выборах и 99,6 % на федеральных) (Любарев, 2013). На выборах в 2016 г. по РФ приняли участие 47,9 % избирателей, в Москве и С.-Петербурге – соответственно 35,2 и 25,6 %. В большинстве «цивилизованных» стран явка избирателей, как правило, еще ниже.

В конце XIX в. в дворянских собраниях принимали участие лишь около 21 % из имевших на это право, несмотря на это дискуссант считает, что реальное самоуправление во второй половине XIX в. существовало, а в первой половине XIX в., когда абсентеизма было меньше, – нет. Это нелогично.

Однако вполне согласен с А.Ю. Морозовым в главном – в том, что «за почти полтора столетия своей истории дворянская корпоративная организация эволюционировала из института традиционного в гражданский (сохранив многие черты традиционной организации)». Мы расходимся, таким образом, лишь в оценке темпов развития дворянского самосознания и самоуправления.

Ответ Г.Н. Ульяновой

Красной нитью через отзыв проходит мысль о том, что «книга не является строгой классической научной монографией для узкого круга читателей, напротив, написана понятным языком и содержит, наряду с академическими рассуждениями, публицистические размышления». Дискуссант отмечает «сбалансированную подачу в тексте теории, статистики и нарратива». Эти особенности книги не только не осуждаются, но приветствуются. «Многоуровневый текст будет ясен и простому читателю, не имеющему исторического образования, и профессиональным историкам». Такой стиль, по мнению критика, расширяет круг читателей, включая в их ряды широкую публику. Дискуссионная же подача материала, полагает критик, привлечет к книге молодых историков, «начитанных и одновременно обремененных бессмысленным шумом ненаучного знания в виде фантастических представлений о прошлом, порожденных массовой культурой и дилетантами в Интернете». Вместе с тем Г.Н. Ульянова сделала ряд полезных замечаний.

В книге отмечено, но лишь вскользь, что «потере интереса к купеческому обществу способствовал также закон 1898 г. о промысловом налоге, давший право на свободу частного предпринимательства всем подданным независимо от принадлежности к купеческим гильдиям» (Миронов, 2015а: 337, примеч. 411). Этот факт, конечно, заслуживал большего внимания. Критик справедливо пишет, что введение промыслового налога в 1898 г. изменило состав купечества. В его рядах остались представители старых династий для подтверждения «древности» рода и пребывания в торговом сословии. Лица из непривилегированных социальных групп, например из крестьян и мещан, продолжали приписываться в купечество ради престижа, а евреи ради права выехать из черты оседлости в большие города, которое давал статус купца.

Дискуссант справедливо подчеркивает, что угасание купеческих обществ (как самоуправляющихся корпораций) свидетельствовало не о слабости купечества, а о том, что купечество перестало замыкаться в рамках своей корпорации и вышло на более широкое поле гражданской деятельности, влившись в ряды так называемой «общественности». Это было деградацией старых сословных институтов, а не упадком самой социальной группы.

На взгляд Г.Н. Ульяновой, неуместно ссылаться одновременно на серьезные академические исследования и компилятивные популярные работы, как случается иногда в трехтомнике. Это касается работ по истории бюрократии, дворянских и купеческих родов. Ссылаюсь на них из предположения, что широкой читающей публике, на внимание которой рассчитывают авторы, они могут быть интересными.

Не нравится критику также обращение к персональным сайтам при ссылке на какие-то работы. Думаю, что это дело вкуса. Я использую любые источники информации, заслуживающие доверия.

Критик забраковала подписи под двумя из 539 иллюстраций. По сути дела она права. Но такими аннотациями были снабжены фотографии в архивных фондах, из которых они заимствованы. Ей также показалась неуместной фотография «В Бухарской тюрьме. 1900-е» (Миронов, 2015b: 80) на том основании, что Бухарский эмират юридически никогда не

являлся частью России, хотя и был под ее протекторатом. Думаю, однако, если следовать этому принципу, то пришлось бы исключать все иллюстрации о жизни за рубежом, что нарушило бы другой, более важный принцип, которому я следую – везде проводить по возможности сравнительно-исторический анализ.

Ответ Ю.Н. Смирнову

В статье основное внимание сосредоточилось на двух проблемах – колонизации и крепостничестве. Дискуссант протестировал мои наблюдения общероссийского характера на материалах юго-востока России.

Подтвердив правильность схемы, он нашел немало региональных особенностей, обусловленных географической и социально-экономической спецификой, которые проявлялись и в других районах империи.

Критик согласился с тезисом о благотворных (по большому счету) последствиях включения новых земель в состав империи как для страны в целом, так и ее народов. Но, говоря о колонизации в юго-восточном направлении, автор делает два ценных уточнения.

Во-первых, по его сведениям, в ней участвовали наряду с православными славянами протестанты западноевропейского и мусульмане тюркского происхождения. При этом «миграционная парадигма», о которой я говорю, была не только русской, а разделялась мордвой, чувашами и татарами, хотя и на свой лад. В силу этого защита своей языческой и исламской «старины» тоже оказалась немаловажным фактором их переселения.

Во-вторых, Ю.Н. Смирнов предлагает откорректировать мой тезис о том, что население России в период крепостного права, 1650–1858 гг., было менее мобильным, чем до закрепощения. В доказательство он указывает на масштабные самовольные переселения крестьян в юго-восточном направлении в XVIII в. В стихийной народной колонизации принимало участие «значительное количество» государственных и удельных крестьян, на уход которых власти реагировали спокойно, лишь бы те на новом месте жительства продолжали платить подати. У беглых помещичьих крепостных существовали свои вполне легальные способы закрепиться на новом месте жительства, в том числе весьма оригинальные. Например, беглый объявлял себя «не помнящим родства», т. е. не знающим своего происхождения и прежнего жительства. Если чиновникам не удавалось доказать обратного, он попадал в особую категорию государственных крестьян – «не помнящих родства», которыми в Заволжье были заселены целые слободы, имевших своих официально признаваемых выборных и посылавших депутатов в Уложенную комиссию Екатерины II. В 1746 г. Сенат распорядился всех, «не помнящих родства», обнаруженных во время ревизии в различных частях России, отправлять на поселение в Оренбургскую губернию. Массовое переселение беглых было возможным благодаря тому, что коронные власти, заинтересованные в заселении новых земель, смотрели сквозь пальцы на нарушения крепостного режима. С конца XVIII в. после пресечения массовых стихийных переселений беглых миграции все-таки продолжались под прикрытием работы на различных волжских промыслах. В 1852 г. секретным распоряжением правительство фактически упразднило паспортный контроль в Самаре над торговцами, транспортными и сельскохозяйственными рабочими.

Нелегальные пути колонизации действительно всегда существовали, но об их масштабе мы не знаем, и критик не приводит статистики. Оценки типа «значительное количество», «в переписях многих новопоселенных деревень» статистику не заменяют. А без этого принять его корректировку не представляется возможным. Между тем согласно имеющимся данным, приведенными в моей книге, в мирный и благоприятный в экономическом отношении период между 1498 и 1539 г. в ряде уездов, о которых сохранились сведения, лишь около 30 % крестьян оставались в домах своих отцов или поселялись в ближайшем соседстве, 36 % переехали в другие селения данного уезда и 20 % выселились за пределы своего уезда (о судьбе остальных сведения отсутствуют). В годы кризиса, 1539–1576 гг., за пределы уезда выселялось до 60 % крестьян (Миронов, 2014: 100). Мне трудно представить, что в XVIII – первой половине XIX в. в самовольной колонизации участвовало от 20 до 60 % крестьян хотя бы одного какого-нибудь российского уезда – это означало бы полный экономический коллапс, которого, как признает дискуссант, не наблюдалось. Пока можно согласиться лишь с тем, что «крепостничество, хотя и ограничило самовольные переселения, но не только не остановило, а даже не лишило их массового

характера». Вследствие этого и аргумент о введении крепостничества по причине массовой неконтролируемой миграции, остается в силе.

Отвечу на другие конкретные замечания. Ю.Н. Смирнов заметил в табл. 1.7 первой главы (Миронов, 2014: 99) в числе территорий, на которые до 1740 г. не было переселений, указано Поволжье и Приуралье, что не соответствует действительности. Причина – отсутствие официальных данных по этим регионам, о чем мне нужно было, конечно, уведомить читателя. А стихийные миграции, о которых пишет критик, как правило, не фиксировались.

Ликвидация Калмыцкого ханства в 1771 г. действительно стала следствием «эмиграции» из России в Джунгарию 200 тыс. калмыков.

Согласен с замечанием, что часть так называемых «ясачных инородцев», проживавших на юге-востоке в XVIII – первой половине XIX в., платили не особый налог – «ясак», а, как и все государственные крестьяне, подушную подать, оброчный сбор, несли рекрутскую и прочие повинности. Дискуссант объясняет, что «ясачными же они назывались по традиции с тех времен, когда на Волге участки, с которых взимались подати, именовались «ясаками». Слова «черносошный» и «ясачный» (чаще писали «ясашный») по сути являются синонимами, один с русским, другой – с тюркским корнем».

Относительно происхождения частновладельческого крепостного права между нами есть расхождение. По мнению Ю.Н. Смирнова, несмотря на важные функции, которые выполняло крепостное право для общества, этот институт следует считать абсолютным нравственным злом. Принудительная мобилизация и подневольное напряжение сил не могут быть оправданы их функциональной целесообразностью уже только потому, что цена была чрезмерной. Без крепостного права в деле социального развития и воспитания общественной зрелости России «можно было добиться большего». На мой взгляд, в научном анализе целесообразно отделять научные оценки от моральных, не отказываясь от последних. Мое функционалистское объяснение происхождения и заката крепостного права имеют целью не облагородить этот всемирный институт, который использовали все европейские страны для решения национальных проблем, а чтобы показать, что верховная власть при введении крепостного права руководствовалась – даже если и ошибочно! – государственными соображениями.

Зато по вопросу отмены крепостного права между мною и Ю.Н. Смирновым наблюдается полное согласие. Мой тезис, обоснованный еще в «Социальной истории...», что к моменту эмансипации резервы крепостничества с экономической стороны не были исчерпаны, что оно было отменено в силу государственной и общественной потребности в модернизации и более глубоком усвоении европейских культурных, политических и социально-культурных стандартов, нашел его полную поддержку. Он также признал, что «проводником крестьянской и других реформ стала имперская «просвещенная» бюрократия».

Еще одно расхождение. По мнению критика, в поисках причин установления неоправданного «дворянства» я пошел за В.О. Ключевским и его последователями, полагая, что именно гвардия в 1725–1762 гг. сыграла консолидирующую роль для дворянского сословия, что в ходе ее выступлений это сословие и осознало себя общественной и военной силой. В доказательство он ссылается на полковые списки, согласно которым гвардия в XVIII в. не была чисто дворянской по составу, и на другие материалы, якобы свидетельствующие о том, что «гвардия в дворцовых переворотах являлась не застрельщиком, а инструментом борьбы придворных группировок за власть». Армия – механизм, действующий без рассуждений и сомнений по приказу офицеров, которые все были дворянами (поскольку первый офицерский чин давал потомственное дворянство). Солдаты играют роль пушечного мяса. Вследствие этого именно позиция офицеров-дворян предопределяла участие гвардии в дворцовых переворотах. Мы знаем об этом также по восстанию декабристов, когда офицеры обманым путем вывели солдат на Сенатскую площадь. При одних обстоятельствах гвардия могла быть инструментом борьбы придворных группировок, при других могла и действительно была «боевой частью регулярной армии, которая служила трону, империи, государству». Но я вполне согласен с Ю.Н. Смирновым в том, что «механизм утверждения «дворянства» был все-таки более сложным, чем представляет «гвардейская парадигма», и не считаю ее единственным фактором, послужившим укреплению положения дворянства и его власти над крестьянами в XVIII в.

Ответ У. Сандерленду

По мнению американского коллеги, книга представляет собой необычное сочетание глубокого эмпирического исследования социальной жизни России в имперскую эпоху и эссе на разнообразные темы, которые временами перемежаются с анализом. В своем обзоре дискуссант сконцентрировался на проблеме империи, рассмотренной мною преимущественно в первой главе книги. Его оценка моей интерпретации Российской империи *с точки зрения этноконфессиональных отношений и политики* точно выражена в самом названии статьи – «Стакан, наполненный наполовину, возможно, на три четверти» или, как он пишет в заключении: «Российская империя в изображении Миронова напоминает мне стакан, наполненный наполовину, возможно, даже на три четверти». По мнению критика, «книга далека от поверхностного прославления российского опыта» – это вполне академическое произведение, рассматривающее империю во всей ее сложности, противоречивости и разнообразии; однако ее автор, анализируя имперский опыт, склонен обобщать его скорее в положительном, чем негативном ключе, – «он округляет в сторону увеличения, а не в сторону уменьшения». Причем в трактовке имперских проблем, как, впрочем, и всех других, я, по словам У. Сандерленда, «абсолютно откровенен относительно своих ориентаций и предпочтений» и отстаиваю свою концепцию аргументированно – «таким способом, который заставляет читателя задуматься».

У. Сандерленд полагает, что моя концепция заслуживает одобрения во многих отношениях. Она учитывает и положительно оценивает долгосрочную историческую стабильность империи и принципы этноконфессиональной политики правительства, превратившие ее в своеобразную конструкцию, в одних аспектах подобную другим империям, в других – от них отличающуюся. Критик соглашается, что «ошеломляющая необъятность империи» оказала принципиальное и позитивное влияние на развитие государства, что многочисленные народы империи действительно извлекли пользу от их объединения в российское пространство, что этнические русские не были «господствующим народом», получающим наибольшую выгоду от имперской структуры. И все же картина, рисуемая мною, представляется критику несколько односторонней, так как преувеличивает достоинства империи. Долгую, сложную, противоречивую историю различных народов в империи «трудно вписать в категории успеха или провала». А если это сделать, то неизбежны пропуски, которые могут создать искаженное представление об империи. У. Сандерленд обосновывает свою точку зрения «о стакане, наполненном наполовину, возможно, на три четверти», на примерах, показывающих, по его мнению, что я несколько приукрашиваю реальную ситуацию. На мой взгляд, слабость его аргументов состоит в том, что против моих обобщений, опирающихся на всероссийские и часто статистические данные, он выставляет отдельные негативные конкретные примеры, причем негативность, говоря его словами, «округляет в сторону увеличения».

«*На первый взгляд*, – пишет он, – в период империи русских в имперскую периферию переселилось больше, чем нерусских из имперской периферии» (курсив мой. – Б. М.). Зачем делать выводы по первому впечатлению, если в книге приведены исчерпывающие на этот счет данные?! «В 1897 г. на территории, инкорпорированной Россией после 1646 г., проживало 76,9 млн человек, из них лишь 12,2 млн, или 15,7 %, были русскими; на территории, заселенной русскими до 1646 г., проживало 52,0 млн, из них 8,5 млн, или 16,3 %, были нерусскими» (Миронов, 2014: 97). Разумеется, в отдельных регионах баланс миграций мог несколько отличаться в ту или иную сторону от суммарной цифры. Между тем критик *на основе своего впечатления* делает далеко идущие выводы о вытеснении русскими аборигенов с их исконных земель – но без всякой статистики! Я не сомневаюсь, что в отдельных случаях вытеснение аборигенов имело место, и даже указываю на некоторые подобные примеры. Но мой вывод обобщает имперский опыт, значит, речь идет о балансе. Например, когда мы обобщаем опыт США, то говорим, что белые вытеснили индейцев и загнали их в резервации. При этом, уверен, найдутся и примеры, когда некоторые белые защищали индейцев.

Аналогичным образом, по мнению критика, я не отрицаю фактов насилия со стороны русских в ходе аннексии, но делаю это «несистематическим способом» и сравнительно мало говорю о завоеваниях, которые заслуживают большего внимания. Я признаю наличие «колониальных аспектов» в строительстве империи, но в меньшей степени, чем это было на самом деле. Я не скрываю наличие в этноконфессиональной политике правительства антиеврейских элементов, но не называю политику в отношении евреев антисемитизмом.

Во всех этих и других случаях, как считает критик, негативный аспект этноконфессиональной политики недооценивается. С этим отчасти можно согласиться. Но относительно расизма принять возражения дискуссанта едва ли возможно. По его мнению, мое утверждение: «Российская империя никогда не знала расизма» – преувеличение, игнорирующее некоторые аспекты российского правления в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Например, в Ташкенте, указывает он, русские и «местные жители», которых называли туземцами, проживали в разных частях города – в «новом» и «старом». Во Владивостоке «желтые», как называли русские китайцев, по критериям санитарии и преступности, которые следует считать предубеждениями или предрассудками, были вынуждены проживать в китайском квартале, что «весьма напоминало расистские практики, распространенные в таких более открытых расистских обществах, как США, Канада и Австралия».

Разумеется, нельзя исключить, что на «ошеломляющих» просторах империи где-то можно было встретить проявления расизма, но в приведенных примерах его нет. В конце XIX – начале XX в. во всех больших городах мира, включая Европу и Северную Америку, существовала пространственная, или географическая, сегрегация – различные социальные, земляческие или этнические группы проживали в разных кварталах или улицах. Это явление наблюдалось и в Петербурге. Причины раздельного проживания были различными. В Ташкенте и Владивостоке, как и в Петербурге, подобная сегрегация покоилась на социальных и культурных основаниях, ничего общего не имевших с расизмом, который, как известно, имеет в виду физическую и умственную неравноценность человеческих рас. В Ташкенте новый город возводился русскими не только как место жительства для себя, поскольку жить вместе с местными жителями рядом не представлялось возможным, но и как образец для подражания местному населению. Этноконфессиональная политика в Туркестане имела целью сближение местного населения с русской администрацией и русскими, что показано в моей книге (см. также: [Термен, 1914: 3–20](#); [Федоров, 1913](#)).

Современники отмечали этническую толерантность российских дальневосточников даже на бытовом уровне и слабое развитие национализма, за исключением времени военных действий. Во Владивостоке большинство китайцев, неимущих, не знавших или очень плохо знавших русский язык, жили особыми кварталами не вследствие расистских предрассудков русских, а по причине целесообразности проживания вместе, по соседству людей одной культуры, одного языка и одного социального статуса. Ввиду бедности и временности пребывания они жили в антисанитарных условиях даже по меркам того времени. В одной комнате могли работать, спать, есть и стирать белье. Грязная вода выливалась прямо во дворах домов. Если китайцы поселялись в русских кварталах, они приносили с собой свои обычаи и привычки. В результате многоквартирные дома, в которых они поселялись, становились пристанищем для бедных и неимущих, где царили грязь и невероятная скученность – в каждой комнате проживало по 10–20 человек. Среди них было много криминальных элементов и нелегальных иммигрантов без документов на право жительства в России и национальных паспортов. Полиция и санитарные врачи, несмотря на все старания, не могли с этим справиться. В 1915 г., во время войны и под ее влиянием, вследствие огромного наплыва мигрантов, а не в силу расистских предубеждений, городская дума приняла постановление об особых кварталах для китайцев – правом повсеместного жительства вне этих кварталов обладали лишь те китайцы, которые имели русское подданство, недвижимую собственность, а также водonoсы ([Власов, 2010](#); [Прей, 2010](#)).

Аналогично с антисемитизмом. Антиеврейские элементы в политике – это не антисемитизм, потому что антисемитизм имеет расовую подоплеку. Кроме того, у современного человека с этим словом связаны столь сильные негативные ассоциации с фашизмом и холокостом, что использовать этот термин применительно к началу XX в. мне представляется неуместным.

Таким образом, У. Сандерленд предлагает откорректировать мои выводы. Но почему на 50 или 25 %? Скорее всего, «стакан, наполненный наполовину, возможно, на три четверти» – это метафора или фигура речи, означающая, что в моем исследовании имеет место недооценка негативных последствий этноконфессиональной политики правительства. Степень недооценки определить точно невозможно. Но, пожалуй, можно согласиться с критиком в том, что мои обобщения покрывают не менее 75 % фактов, касающихся этноконфессиональных отношений в Российской империи.

Замечания У. Сандерленда перекликаются, но не совпадают полностью с замечаниями В.В. Керова, который также полагает, что «существовало множество случаев отступления от норм национальной и конфессиональной “толерантности”». Однако у него не сложилось впечатления, что я их недооцениваю – по его мнению, в некоторых случаях (в отношении евреев и старообрядцев) они неверно объяснены (об этом шла речь в моем ответе В.В. Керову). Если У. Сандерленд считает, что мое изображение этноконфессиональной политики в лучшем случае адекватно лишь на 75 %, то, с точки зрения В.В. Керова «в целом очерки национальной политики можно считать удачей автора работы».

Существенно по-иному оценил имперский подраздел книги И.И. Верняев.

Ответ И. И. Верняеву

Анализируя книгу с точки зрения социальной антропологии, дискуссант переформатировал мой исторический нарратив в этнографический, применив специфические для данной дисциплины подходы и понятийный аппарат. Как указывает И.И. Верняев, он интерпретировал мой текст «с точки зрения разработанных в современной этнографии моделей традиционных обществ и культур, способов их модернизации и инкорпорации в современное общество». В результате текст заиграл другими красками, в нем обнаружились латентные смыслы, понятные социальному антропологу, а после того как смыслы были открыты, они становятся понятными и любому читателю. Текст об этноконфессиональной политике имперского правительства превратился в текст о «принципах и технологиях управления этноконфессиональным разнообразием и трансформацией традиционных социокультурных институтов с точки зрения разработанных в современной этнографии моделей традиционных обществ и культур, способов их модернизации и инкорпорации в современное общество». В таком переформатированном виде трехтомник может служить «ценным источником первичных данных, их глубокого аналитического осмысления и обобщающих моделей» и «открывает широкие возможности для проведения межстрановых и межрегиональных сравнительных исследований». Антропологизация текста стала возможной, во-первых, благодаря креативности И.И. Верняева, во-вторых, вследствие того, что пути и типология трансформации традиционных социумов и культур, их интеграция в современные общественные и государственные системы, способы управления этноконфессиональным разнообразием являются важнейшими темами современной социальной антропологии и этнографии.

Дискуссант соглашается с тем, что характерными чертами этноконфессиональной политики являлись сохранение статус-кво, использование косвенного, непрямого управления, предоставление широкой автономии присоединяемым территориям и проживающим там этническим группам, в особенности на первых этапах интеграции, этническая и конфессиональная толерантность, отсутствие по большей части правовой дискриминации по национальному или конфессиональному признаку. Эта политика была прагматичной и обуславливалась объективными факторами, прежде всего недостатком административного ресурса у Петербурга. Но критик предлагает посмотреть на имперский опыт России с точки зрения «управленческих “технологий”, позволявших осуществлять как “сборку” имперского пространства, так и постепенную, достаточно гибкую и непрямую интеграцию регионов и этнических групп».

К их числу он относит использование технологии промежуточных, компромиссных институтов, обеспечивающих симбиоз новых и старых институтов без травматической ломки последних. Исследования процессов модернизации традиционных обществ, их интеграции в современные экономические и социально-политические системы показали, что многие традиционалистские институты (родоплеменные, территориально-общинные, патрон-клиентские, кастовые и др.) могут вполне сочетаться с активной и успешной адаптацией обществ с такими социальными структурами в индустриальной экономике и в политическом процессе. Соответственно реформаторам нет необходимости осуществлять своего рода тотальную перестройку всех подсистем, сложившихся в регионах симбиотической институциональной системы традиционного типа одновременно и в исторически короткие сроки. Попытка подобной тотальной модернизации и унификации этноконфессиональных регионов России в последние десятилетия XIX – начале XX в. привела в итоге к возникновению дезинтеграционных тенденций в некоторых из них.

Важной технологией управления этноконфессиональным разнообразием он считает «процессы конфессионализации, легитимации существующих в империи религий и религиозных сообществ, включение их в систему государственного управления». Конфессионализация подразумевала признание религий и соответствующих религиозных сообществ как коллективных субъектов, конфессиональных корпораций, формирование государственной правовой базы их функционирования, покровительство им, защиту, признание особого статуса, прав и привилегий духовных лиц. Создание и признание управленческой вертикали признанных вероисповеданий и их инкорпорация в имперские структуры управления означали одновременно и постановку под государственный контроль трансграничных связей соответствующей конфессии, предотвращение альтернативной мобилизации части российского населения вокруг зарубежных конфессионально-политических центров.

Еще одной технологией имперской «инженерии» И.И. Верняев называет включение национальных элит в систему управления империи, сотрудничество с ними имперского центра, преобладание социальной ассимиляции над собственно этнической, приоритет политической лояльности интегрируемых обществ и их лидеров. Особенно важным было проведение технологии «социальной ассимиляции» в отношении национальных элит. Их лояльность обеспечивалась во многом сохранением, а нередко и усилением привилегированного статуса уже в новом для них, имперском пространстве. В результате в Российской империи по мере инкорпорации новых территорий постепенно складывалась полиэтноконфессиональная по своему происхождению имперская элита.

К важной технологии управления дискуссант относит практику создания некоторых преимуществ этническим группам национальных регионов страны, предоставления особого правового статуса «инородческому» населению, обеспечения их рядом льгот и привилегий.

Критик считает актуальным вопрос о «цене империи» и соглашается с использованной в книге методикой расчета «цены империи» как соотношения, с одной стороны, стоимости регионального управления, обеспечения безопасности, вложений, предпочтений и, с другой стороны, доходов, получаемых от национальной окраины.

Он приветствует применение теорий фронта к анализу российской колонизации, так как последняя осуществлялась по *фронтирной модели*. Поскольку российская граница в течение многих столетий была подвижной, пограничные территории долгое время находились во фронтирном состоянии, которое являлось своего рода пред-интеграционной подготовкой, необходимой стадией для последующих, более глубоких процессов административно-управленческой, правовой, инфраструктурой интеграции региона. Для пограничных, фронтирных территорий характерны проницаемость границ, гибридные социальные формы, множественность правовых норм, преобладание обычного права, слабость административного контроля, интенсивные обмены, в том числе брачные, симбиозы обменные, торговые, хозяйственные, взаимная аккультурация, отсутствие четко определенных этнических «фронтов», формирование смешанных, этнически гетерогенных сообществ.

Таким образом, статья И.И. Верняева демонстрирует большие перспективы междисциплинарного подхода.

Ответ В.А. Шкуратову

Приятно сознавать, что российский классик в области исторической психологии поддержал мою скромную попытку объяснить особенности поведения русского крестьянина, а точнее неграмотного простолюдина, принимая во внимание особенности его психического склада. Ради этого мне пришлось использовать некоторые концепты исторической психологии.

Дискуссант объясняет отсутствие интереса к исторической психологии в трудах современных психологов «кардинальным методологическим различием двух современных наук о человеке и обществе: историки работают с документами прошлого, психологи с приборно-тестовыми данными о живых людях. Совместить две познавательные системы в устойчивый научно-исследовательский комплекс до сих пор не удалось». Признавая этот конфликт трудноразрешимым, критик считает, что лишь «в далекой перспективе психологическая наука может стать триединством исследований человека прошлого, настоящего и будущего», если найдет гуманитарную альтернативу современной психологии, основанной на экспериментально-тестовых стандартизированных процедурах. И научное

творчество самого В.А. Шкуратова имеет целью найти эту гуманитарную альтернативу. Мне также кажется, что скептицизм о возможности воссоединения истории с психологией преувеличен, потому что прошлое все-таки оставило нам источники, которые отчасти могут заменить нам эксперименты. Например, по сохранившемуся описанию симптомов болезни, от которой умер человек, современный врач может поставить правильный диагноз. Наблюдения антропологов, этнологов и психологов XIX–XX вв. дают много ценной информации о когнитивных особенностях архаического и традиционного человека.

Дискуссант поддержал стадийный подход к ментальному развитию. В «Российской империи...» в качестве начальной точки выделен мифологичный психический тип, а в качестве конечной (на настоящий момент) – рациональный психический тип сознания. При этом подчеркивается, что рациональный психический тип вырабатывался постепенно в ходе эволюции, вследствие чего между рациональным и мифологическим типом есть много промежуточных форм. Взгляды о дихотомичности современного и досовременного мышления за последние полвека подверглись эрозии, хотя до сих пор остаются основой для предварительного логического противопоставления между архаичными «мифологичными» и современными «рациональными». В ранней работе я рискнул четко отделить архаику от традиции и современности, выделив промежуточный тип, названный мной «традиционным, религиозным» ввиду определяющего значения традиции и в особенности религии в жизни человека традиционного общества, которая по сути выполняла те же самые функции, что и миф в первобытном обществе (Миронов, 1984: 122–140). Но при работе над соответствующим подразделом в «Российской империи...» я решил отказаться от триады по причине трудности определения специфики традиционного типа сравнительно с мифологическим и рациональным типами сознания, за исключением того, что по всем признакам это был промежуточный, переходный тип, поэтому ограничился указанием на то, что должны существовать промежуточные типы без их конкретизации.

В.А. Шкуратов развивает идею триады, предлагая отделить «от традиционализма архаику» и рассматривать российскую ментальность в соотношении трех социокультурных порядков, «которые одновременно являются способами социализации человека, именно в архаической дописьменной, традиционно-письменной и современной культурах». «Теоретически дописьменная мифомагическая архаика народа, книжный традиционализм и современная рациональность располагаются как стадии социокультурного развития» «В общих чертах ясна и хронологически-историческая принадлежность социокультурных страт. Первая относится к догосударственной первобытности, вторая – к феодальному Средневековью, третья – к буржуазно-капиталистическому порядку Нового времени».

Однако он весьма приблизительно идентифицировал их особенности. «Под традиционализмом я, вполне согласно с автором “Российской империи...”, предпочитаю понимать отстаивание наличного уклада жизни и морально-религиозное сопротивление инновациям, индивидуализму, под архаикой же – своеобразное (нерациональное и ненаучное с нашей точки зрения) сопровождение базисных жизненных потребностей – органической витальности». Вполне разделяю намерение критика развить идею триады. Правда, в перспективе он идет дальше – добавить к триаде «архаика, традиционализм, современность» и постсовременность «как темпоральные ориентации, в аспекте организующей роли социального времени».

Остановлюсь на некоторых спорных моментах.

По мнению дискуссанта, «в книге несколько избыточно подчеркивается “отсутствие серьезных побудительных мотивов у широких слоев населения”... к образованию. Мотивация мотивацией, но имелись и важные системные факторы, тормозившие продвижение грамоты на Руси. Ведь до конца XVII в. в стране не было сети регулярного обучения детей и взрослых». Мне же кажется, что причину и следствия в данном контексте следует поменять местами – именно по причине отсутствия мотивации и потребности не сложилась и сеть регулярного обучения детей и взрослых ранее XVIII в.

Критик скептически относится к идее народного капитализма: «Не знаю, имеет ли автор [Б.М. Миронов] в виду самоуправление в духе офтальмолога С.Н. Федорова или ему ближе семейное предпринимательство восточноазиатского типа. Но знаю, что в позапрошлом веке русская интеллигенция лелеяла планы общинного социализма в стремлении избежать язвы пролетариата. Она тоже мечтала сбалансировать коллективизм и передовое хозяйство, а вылилось все в печальной памяти колхозы». Ирония – сильное оружие. Однако народный капитализм как раз и рассматривается в

качестве альтернативы олигархическому капитализму, причем его автором был экономист Луис Келсо из США – стране с развитым олигархическим капиталом и с отсутствием традиций народного капитализма. Среди наиболее известных и достаточно успешных примеров проведения политики народного капитализма называются ФРГ после Второй мировой войны, в 1950–1960-е гг., и Великобританию при Маргарет Тэтчер, в 1980-е гг.

И последнее. На вопрос: «Делает ли модернизация человека счастливее?» – В.А. Шкуратов отвечает в отличие от меня положительно. В качестве аргумента он ссылается на список счастливых стран по индексу World Happiness, составляемый ООН. В 2015 г., третий год подряд, его возглавляла Швейцария. Следом идут Исландия, Дания, Норвегия и Канада. Замыкают список из 158 стран Того, Бурунди, Бенин, Руанда и Сирия. Россия оказалась на 64-м месте. «Утверждение, что в Швейцарии люди ощущают себя более довольными жизнью, чем в Руанде и Сирии, не вызывает у меня никакого возражения», – пишет он. Так осторожно он говорит, что между степенью модернизации и степенью удовлетворенности от жизни существует прямая связь. Однако, на мой взгляд, аргумент некорректен. Следует сравнивать не современные страны друг с другом, а одну и ту же страну в разные периоды: Бурунди или Того 2015 г. правильно сравнивать не со Швейцарией 2015 г., а с Бурунди или Того в 1915, 1815 и 1715 гг.; Швейцарию 2015 г. – со Швейцарией 1915, 1815 и 1715 гг., Россию 2015 г. – с Россией 1915, 1815 и 1715 гг. Потому что Бурунди 2015 г. – это совсем не то, чем была Швейцария 100, 200 или 300 лет назад, как латентно предполагает критик. И тогда результат будет другим. У меня мало сомнений в том, что 200–300 лет назад племена, проживавшие на территории современных Бурунди или Того, были счастливее, чем сейчас, именно потому, что в то время модернизация мало или совсем их не затронула. А сейчас народы этих стран несчастливы более других именно потому, что охвачены модернизацией, которая разрушает их традиционный уклад и дает недостаточную компенсацию.

Таким образом, В.А. Шкуратов даже более оптимист, чем я, что мне вдвойне приятно. Во-первых, он соглашается со мной, что «историко-эмпирический материал книги подтверждает идею о поступательном движении экономики, государственного управления, социальной структуры, благосостояния, культуры России с начала XVIII в. до 1917 г.». Во-вторых, я оказываюсь с точки зрения исторического оптимизма в центре.

Ответ К. Воробец

Если В.А. Шкуратов вполне позитивно оценил мой краткий пилотажный очерк по исторической психологии русского крестьянства, то К. Воробец отнеслась к нему негативно. По ее мнению, я архаизировал менталитет и поведение крестьян и поддержал неадекватные представления, бытовавшие о них в среде образованной части населения, как о людях темных, невежественных, примитивных, инфантильных, эмоциональных, иррациональных, слабых, суеверных, которые, несмотря на это, были удовлетворены жизнью по причине своей простоты и наивности. Эти «антиисторические представления о русских крестьянах XIX в.», якобы застрявших в XV или XVI в., являются отражением устаревших колониальных представлений о примитивных народах. По мнению критика, распространение языческих представлений и практик среди крестьянства в литературе и мною преувеличено, тезис о двоеверии, подвергнутый сомнению в новейших исследованиях, является скорее мифом, большой духовной пропасти между крестьянами и элитами не было.

Подобная характеристика крестьянства, полагает дискуссантка, находится в противоречии с моими же оценками экономического, социального, культурного, политического и культурного развития деревни как достаточно успешного, с которыми она согласна. На самом деле противоречия нет, потому что в моем изображении крестьянство выглядит совсем не таким, как показалось К. Воробец.

На чем основывается ее заключение об архаизации мною массового сознания крестьянства? На одном подразделе об исторической психологии из 12-й главы ([Миронов, 2015b: 501–536](#)). При этом приведенную там информацию Воробец интерпретировала произвольно – в духе колониальных представлений о примитивных народах. Как автор, я нигде в книге не называл крестьян темными, невежественными, примитивными, инфантильными, иррациональными, суеверными и т. п. Слово «суеверный» и производные от него во всех трех томах употреблены 23 раза, в том числе применительно к крестьянам 11 раз, но не мною, а современниками. Слово «невежество» и производные от него во всех

трех томах использованы 19 раз, в том числе относительно крестьян 11 раз, но все 11 раз из характеристик, данным крестьянам современниками. Слово «примитив» и производные от него использованы 18 раз, но применительно не к крестьянам, а к хозяйственной практике и экономике (необязательно крестьян). Слово «инфантильный» и производные от него использованы 2 раза, слово «иррациональный» – 4 раза, но не в отношении крестьян. В книге постоянно подчеркивается, что крестьянская культура и менталитет отнюдь не примитивны, а рационально и прагматично приспособлены к условиям их существования и уровню их знаний. Даже массовое сознание первобытных людей я оценил не так, как показалось критику: «Примитивное» (“архаическое”, “варварское”) сознание ни в коей мере не примитивно, но оно существенно отличается от современного рационалистического сознания иным способом расчленения и организации действительности, способом, вряд ли менее логичным и последовательным, чем наш, и главное, вполне соответствующим потребностям общества, которое выработало этот тип сознания» (Миронов, 2015b: 510).

Что касается эмоциональности крестьянства, то я о ней действительно говорю, но не как о признаке недоразвитости или несовершенства: «Имеется много данных, подтверждающих глубокую эмоциональность русских крестьян периода империи, что неудивительно: эмоции играют огромную роль даже в жизни современного человека из самых продвинутых в культурном и технологическом отношении стран. Идея об укрощении эмоций, якобы произошедшем под влиянием дисциплинированных практик индустриального общества, и о наступившей “дисциплинарной цивилизации” подвергается в современной науке ревизии. Модель человека как “рационального оптимизатора” дополняется представлениями о человеке как о носителе “логики эмоций, пристрастий и впечатлений”. <...> Отсюда очевидна правота тех, кто утверждает, что люди в бесписьменных и вообще традиционных обществах были чрезвычайно впечатлительны и эмоциональны, что эмоции служили важным коммуникативным средством, компенсировавшим бедность и неразвитость языка, служили одним из механизмов познания человеком внутреннего мира других людей путем проникновения-вчувствования в их переживания» (Миронов, 2015b: 532).

Когнитивные процессы у подавляющего большинства «деревенских» крестьян, в 1917 г. бывших либо неграмотными (на 68 %), либо элементарно грамотными (на 32 %), не могли происходить как у образованного человека со средним или высшим образованием – они не достигали стадии «формальных операций», когда человек может размышлять не только о наличных, но и о гипотетических ситуациях – что могло бы быть. Однако я указываю на наличие у них большой способности решать жизненные проблемы без обращения к логическим операциям, посредством интуиции, путем быстрой и почти мгновенной интерпретации того, что воспринято чувствами, руководствуясь чем-то вроде чутья или сметки. Как отмечал С. Леви-Брюль, даже люди первобытной культуры, которым отвлеченная мысль дается с трудом, в проблемных ситуациях «показывают себя пронизательными, рассудительными, умелыми, искусными и даже изощренными». Им свойственно также «красноречие, богатство аргументации, ловкость словесных выпадов и защиты в спорах, тонкая и острая наблюдательность, плодотворное и поэтическое воображение» (Миронов, 2015b: 506).

То, что в XVIII–XIX вв. крестьяне и даже малообразованные помещики были суеверными и разделяли языческие предрассудки, зафиксировано всеми современниками и прежде всего приходскими священниками. В семинариях середины XIX в. были в ходу сборники религиозных предрассудков и суеверий, свойственных городскому и сельскому «простонародью», чтобы будущие пастыри были готовы бороться с ними (Миронов, 2015b: 382). В отношении суеверий российская деревня отставала от западноевропейской. В России гадалки, колдуны и прорицатели пользовались большим почетом и в начале XX в.; в крупных городах они стали исчезать в конце XIX в. В западноевропейских странах их популярность достигла своего пика в Средние века; с началом Нового времени она пошла на убыль, но в сельской местности сохранилась до XX в. В США в 1950-е гг. сельскохозяйственная магия – типичный пример языческих предрассудков – широко применялась при поднятии целины, кастрации скота, посадках садов и в других случаях, когда налицо были риск и неопределенность результата. В 1956 г. 40 % фермеров из штата Огайо перед севом приглашали профессиональных колдунов, гарантирующих достаточное количество осадков. Вследствие спроса на их услуги только колдунов, вызывающих дождь, во всей стране насчитывалось до 25 тыс. Русские путешественники первой половины XIX в. с

некоторым удивлением отмечали бытование языческих праздников в Европе. В современном мире магия также существует, но ее роль уже не подразумевает объяснение устройства мира, а сводится к символической и экспрессивной (Миронов, 2015b: 617–618).

Однако, говоря о предрассудках, я постоянно подчеркивал, что русские православные крестьяне жили по христианским заповедям, а это высшая похвала для всякого христианина. «Моральный кодекс общины воплощает христианские заповеди, крестьяне обязаны его соблюдать» (Миронов, 2015a: 180). «В целом принципы общинной жизни соответствовали потребностям и интересам большинства крестьян, их пониманию справедливости, а также представлениям о настоящей, доброй христианской жизни, которые утверждала Православная церковь. Мы легко обнаруживаем проявление 10 заповедей Закона Божьего в принципах общинной жизни» (Миронов, 2015a: 182). «...В целом жизнь в крестьянской общине строилась на основе христианских заповедей» (Миронов, 2015b: 728).

В период империи моральная экономика крестьянской общины постепенно и понемногу подвергалась эрозии вследствие коммерциализации, однако до начала XX в. не была вытеснена из деревни, о чем говорит низкая товарность крестьянского хозяйства – в 1913 г. товарность всего сельского хозяйства составляла лишь 31 % чистого сбора основных сельскохозяйственных культур, значит, у крестьян была много ниже (Миронов, 2015b: 668). Большое число праздников, существование субсистенциальной трудовой этики и сопротивление большинства крестьянства Столыпинской реформе также говорят о живучести моральной экономики. Признаки коммерциализации крестьянских хозяйств, которые обнаружили некоторые американские слависты в больших оброчных имениях в середине XIX в., не следует преувеличивать – критика этих представлений дана в книге (Миронов, 2015a: 196–199).

Не могу согласиться с тем, что «по большому счету, крестьяне в исследовании выступают как объекты воздействия либо помещиков, либо государства». Боюсь, что здесь и в данном случае К. Воробец неправильно меня поняла. Я подчеркиваю, что если крестьянство предпочитало мирные формы борьбы, нередко безмолвствовало и переносило административный раж чиновников, то это не означает, что оно являлось исключительно объектом властей и помещиков. Субъектность крестьянства состояла не только в том, что оно регулярно устраивало бунты, бывшие для правящего класса моментами истины (Миронов, 2015a: 579–582), но и в том, что оно ежедневно использовало «оружие слабых» – молча, на практике игнорирует приказы, указы и инструкции начальства или имитирует их исполнение. Массы нельзя насильно, против их воли и желания реформировать – эта идея красной нитью проходит через все три тома и стала новым трендом в моем подходе к крестьянству. В то же время есть многочисленные свидетельства (и они приведены в книге), показывающие, что в период империи крестьянские практики во всех сферах жизни постоянно совершенствовались под влиянием бюрократии, разного рода общественных организаций и помещиков-рационализаторов (Миронов, 2015a: 570–581), и было бы неправильно об этом забывать. Крестьяне, таким образом, являлись и объектами, и субъектами истории.

Приравнивая коллективизм крестьян к авторитаризму и соединяя коллективизм с большевистским проектом, полагает критик, я имплицитно поддерживаю точку зрения, что главной причиной революции 1917 г. послужило невежество крестьян. На самом деле я явно и недвусмысленно считаю, что большевики опирались на крестьянство, но не на его невежество, а на его идеалы и коллективные представления. «В кратком виде формула советской модернизации сводилась к технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных социальных институтов. Не забывая, что всякое обобщение огрубляет действительность, можно сказать, что на какое-то время вся страна превратилась в большую общину и во многом действовала на ее принципах. Если мы сравним основополагающие принципы, на которых строилась жизнь общинной русской деревни до 1917 г. и советского общества в сталинское время, то обнаружим между ними сходство. Выразим принципы общинной жизни в современных терминах: 1) коллективная форма собственности; 2) право на труд, которое община гарантировала тем, что каждый взрослый мужчина получал от нее во временное пользование участок земли; 3) право на отдых <...>; 4) право на социальную помощь бедным, старым, одиноким, а также попавшим в тяжелое положение вследствие пожара, падежа скота и других чрезвычайных обстоятельств; 5) демократический централизм: подчинение меньшинства большинству; 6) коллективная ответственность:

один – за всех, все – за одного; 7) право на участие в общественных делах: главы семей участвовали в сходках, заседали в крестьянском суде, занимали общественные должности, важные – по выбору, а второстепенные – по очереди; 8) равенство, отсутствие существенной материальной и социальной дифференциации; 9) регламентация жизни, право общины вмешиваться в дела крестьян, включая семейные, если они вступали в противоречие с интересами общины, с традицией и обычаем; 10) тождественность прав и обязанностей: право на труд, отдых, участие в общественных делах, на помощь являлось одновременно обязанностью трудиться, отдыхать, заниматься общественными делами, помогать нуждающимся» (Миронов, 2015b: 714).

Таким образом, мой антиисторизм, о котором говорит К. Воробец, является результатом неадекватной интерпретации текста книги, а мой пессимизм в отношении крестьянства сильно преувеличен. В этом есть отчасти моя вина. Характеристику менталитета и коллективных представлений крестьянства я поместил в конце третьего тома, не оговорив как это коррелирует с содержанием всей книги. Интересно, что К. Воробец призывает меня снять черные очки, не закрывая при этом глаза на действительно отрицательные аспекты крестьянской жизни и менталитета. Тогда, по ее мнению, изменения в деревне предстанут реалистичнее и в более оптимистическом свете. Пожалуй, впервые меня призывают усилить исторический оптимизм. Это – хороший знак. Знак того, что я нахожусь в золотой середине.

Ответ С.А. Экштуту

В выступлении дискуссанта хотелось отметить три момента – о крепостничестве, социальной мобильности и русской интеллигенции. Выше было указано, что Ю.Н. Смирнов настаивает на том, что крепостное право следует однозначно осудить как «абсолютное зло» и что нет нужды искать какой-либо рациональности в этом институте. С.А. Экштут высказывает, по-моему, более взвешенный взгляд, подчеркивая относительность понятий «жестокость» и «целесообразность». Про сути он призывает воздерживаться от презентизма при оценке имперских институтов. «Был ли институт крепостничества жесток? Да, безусловно». Чем это объяснялось? «Интенсивность и производительность труда в барщинных имениях была значительно выше, чем в оброчных. Это достигалось за счет методов внеэкономического принуждения. Крестьян, трудившихся на барщине, пороли в 25 раз чаще, чем крестьян в оброчном имении». При этом критик отмечает историчность жестокости, ее обыденность, привычность, приемлемость и даже необходимость с точки зрения людей первой половины XIX в., не говоря уже о более раннем времени. И это обстоятельство историкам необходимо принимать во внимание, чтобы понять мотивацию и наказываемых, и наказывающих. В доказательство он обращается к классической литературе, которая для историков нередко выполняет роль социологических исследований.

С.А. Экштут разделяет мою точку зрения, что именно вертикальная социальная мобильность обеспечивала жизнеспособность имперской системы: «Активно работали социальные лифты, обеспечивавшие восходящую межсословную социальную мобильность». Поэтому «попытки отыскать корни Великой русской революции в окостенелости правящей элиты и в принципиальном нежелании привилегированного сословия пополнять свои ряды за счет наиболее талантливых и активных представителей других сословий» не выдерживают, по его мнению, критики.

Как исследователь истории русской интеллигенции периода империи, дискуссанта не может обойти вниманием проблему роли интеллигенции в российской революции 1917 г. И здесь наши мнения близки. С.А. Экштут считает, что русская интеллигенция пореформенной поры отличалась постоянной неудовлетворенностью тем, что в России было, и по этой причине страдала имманентной оппозиционностью. Самая радикальная ее часть, при одобрении большинства, свой святой долг видела в разрушении существующего строя и построении другого, сущность которого она плохо представляла.

Ответ С. В. Куликову

В статье книга положительно оценивается за то, что она, по мнению дискуссанта, возвращает историографию «к большой истории и к историку как субъекту историографического процесса», представляет историю Российской империи в новом, оптимистическом ракурсе, по-новому освещает уже известные сюжеты, обоснованно устраняет многие стереотипы, до сих пор еще влияющие на восприятие периода империи,

«прежде всего концепт о тотальном кризисе как итоге истории Российской империи и причине ее падения». К положительным чертам исследования С.В. Куликов относит междисциплинарность, отказ от марксистской парадигмы, следование интегральной методологии, полную свободу творчества и концептуальную независимость автора. Критик убежден, что именно в междисциплинарности, прежде всего «в социологизации истории, заключается едва ли не главный залог дальнейшего развития историографии».

Однако в отношении методологии С.В. Куликов делает два замечания. Ему показалось, что я отвожу «так называемой событийной истории последнее место». Это замечание звучит на круглом столе второй раз. В ответе Л.Н. Мазур я объяснил, что это недоразумение вызвано неверным пониманием слова «поверхностный» в контексте иерархизации уровней историописания. Хотелось бы повторить: я считаю три уровня анализа равнозначными, что, как говорят сами критики, доказывается на каждой странице моего труда.

Критик также сетует на то, что среди семи парадигм, рассмотренных во «Введении» «отсутствует элитистская парадигма, даже как часть иной парадигмы». В начале «Введения» я пояснил, что в дальнейшем анализе буду иметь в виду под парадигмой: «Парадигма – совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов. Она дает образец решения исследовательских задач в соответствии с принятыми правилами, готовый и почти обязательный алгоритм исследования» (Миронов, 2014: 33). Элитизм по этому определению парадигмой назвать нельзя. Однако элитистскую концепцию я использую, в том числе со ссылкой на работы С.В. Куликова, в которых она успешно использована (Миронов, 2015а: 642, 857).

Дискуссант вносит два интересных инновационных предложения. Первое – начинать историю Российской империи не с Петра I, а с 1550-х гг. (вслед за Б.Э. Нольде (1876–1948), известным историком, русским юристом – специалистом в области международного права), потому что «фактически, а не de-jure», история России как империи начинается именно с Ивана IV Грозного после присоединения к Московскому царству Астраханского и Казанского ханств и начавшегося присоединение Урала и Сибири. В таком случае «Русское государство, по данному аспекту, шло в ногу с тогдашними великими европейскими державами, которые во второй половине XVI в. усиленно присоединяли к себе заморские территории». Эта идея звучит резонно. Не случайно генезис Российской империи «фактически, а не de-jure» многие зарубежные и отечественные исследователи уже давно относят к царствованию Ивана IV, да и западные заморские империи получили международный статус империи de-jure не в XVI в., а много позже.

Второе предложение – изменить сложившуюся традицию сравнивать Российскую империю как целое (метрополия плюс колонии) с метрополиями соответствующих держав, не учитывая их колонии, которые составляли фактически и юридически одно государство – империю. При таком подходе, полагает он, Россия станет «страной не догоняющей, а перегоняющей другие европейские державы, в частности применительно к началу XX в. по степени распространенности среди населения политических прав и свобод, в том числе избирательного права». Он приводит на этот счет любопытные данные. В Российской империи избирательное право с 1905 г. имели практически все населявшие ее народы, а в Британской империи в это время – менее 5 % населения.

Предлагаемый способ расчета различных показателей действительно может изменить иерархию империй по уровню развития. Например, в 1900-е гг. коэффициент смертности в Великобритании (40 млн населения) был самым низким в Европе – 16,9 промилле, но в Британской Индии (население 225 млн) – 35 промилле. Тогда в Великобритании вместе с Индией коэффициент смертности достигнет 32 промилле (Statistical Abstract..., 1915: 230), а в Британской империи в целом (вместе с африканскими колониями) – еще выше, поскольку смертность в колониях была выше, чем в Индии. В Российской империи коэффициент смертности в 1900-е гг. был ниже 30 промилле, значит, меньше, чем в Британской империи. Конечно, не секрет, что колонии европейских морских империй разительно отставали от метрополий. Но поскольку так называемые окраины Российской империи по закону и по факту являлись полноценной органической частью империи, а колонии морских империй имели особый административный и юридический статус, исторически сложилось, что их метрополии учитывались отдельно. Этому способствовало и то обстоятельство, что статистические сведения о некоторых колониях появились только в конце XIX – начале

XX в. Впрочем, и в Российской империи статистические данные о сибирских, кавказских и центрально-азиатских губерниях стали собираться с конца XIX в.

К вопросу о клиотерапии

Отдельно остановлюсь на проблеме клиотерапии, которая в большей или меньшей степени волнует всех участников круглого стола. Среди них обозначились три позиции – позитивная, амбивалентная и нейтральная. Первую в той или иной степени разделяют С.В. Куликов, Ю.Н. Смирнов, Г.Н. Ульянова, В.Л. Хорос. Л.Н. Мазур и А.Б. Лярский высказывают по поводу клиотерапии противоречивые суждения. В.В. Керову, по-видимому, также не нравится идея создания нового адекватного позитивного прошлого России. У. Сандерленд и К. Воробец отнеслись к идее клиотерапии вполне нейтрально, чтобы не сказать положительно. Остальные дискуссанты не акцентируют свое внимание на данной проблеме, и, поскольку они в целом положительно оценивают книгу, можно предположить, что по крайней мере аллергии в отношении клиотерапии не испытывают.

Прежде чем обсудить этот важный вопрос, напомним, что клиотерапией я называю трезвое изучение своих недостатков, но и достоинств с целью недостатки лечить и устранять, а достоинства развивать. Лучшее средство избавиться от недостатков – знать их происхождение, ибо как предрассудки – это осколки прежних истин, так и особенности современных институтов, которые теперь являются недостатками, когда-то были достоинствами. Историки могут и должны стать социальными врачами. Подобно тому как психоаналитик избавляет пациентов от различных комплексов, которые мешают им жить, путем объективного трезвого анализа их личной истории (в первую очередь опытов и травм детства!), так и историки могут избавить свой народ от комплексов, сформировавшихся в ходе исторического развития, путем анализа прошлого, а историографию от негативных мифов. С другой стороны, подобно тому как сами психоаналитики должны время от времени сами подвергаться психоанализу, так и историки должны время от времени лечить свою методологию и избавляться от своих устаревших стереотипов (Миронов, 2014: 18).

Из этого определения следует, что клиотерапия в моем понимании не предполагает обязательно позитивную трактовку всех явлений и событий российской истории. Она предполагает трезвое, значит, сбалансированное, объективное изучение истории, отделение моральных оценок от функционалистских объяснений. Если в историографии взяли верх неадекватно негативные представления (как в случае имперской истории), их необходимо корректировать в позитивном ключе. Если, наоборот, в историографии взяли верх неадекватно позитивные представления (как в случае с советской историей), их нужно корректировать в негативном направлении. Потому что по большому счету в истории каждой страны примерно одинаков баланс негативного и позитивного. Меня обвиняют в избыточном оптимизме потому, что изучаю историю имперской России, в историографии которой существует негативный тренд и потому ради объективности требуется коррекция в позитивном направлении. В альтернативном случае, если бы при изучении имперской истории существовал позитивный крен, я бы стал пессимистом. По сути речь идет о требовании по возможности объективного изучения истории, нормализации исторического процесса, который включает светлые и темные страницы, между которыми надо найти баланс. Существующие представления о Российской империи, ставшие нашими национальными мифами, в отличие от исторических мифов, господствующих в зарубежной историографии относительно своей национальной истории, не только искажают наше прошлое самым негативным образом. Они дают основание нашим геополитическим соперникам и конкурентам считать русских не способными к «цивилизованной» жизни, а Россию – тюрьмой народов, деспотическим полицейским империалистическим государством, понимающим только язык силы и санкций.

Можно ли в данном случае руководствоваться поговоркой «Собаки лают – караван идет»? Увы, нет. На карте стоит национальное духовное здоровье. Позитивная или негативная интерпретация российской истории исключительно важна по своим последствиям. В социологии и психологии хорошо известен феномен, получивший название теоремы Уильяма Томаса (1863–1947): если ситуация описывается как реальная, то она реальна по своим последствиям, потому что оценка ситуации порождает модели поведения, способствующие развитию ситуации в соответствии с ее трактовкой. «Если человек думает, что его представление о какой-то ситуации соответствует действительности, то он ведет себя так, как того требует его представление, и последствия его поведения вполне реальны.

Отсюда следует, что ментальные комплексы, независимо от того, насколько они соответствуют реальности, предопределяют как восприятие действительности, так и действия людей. В ментальном поле культуры разнообразные комплексы представлений и установок взаимосогласуются так, чтобы люди, исходящие из них в своем мышлении и поведении, могли создавать и поддерживать необходимые для жизни условия. При этом между ментальными комплексами возникают связи, которые отчасти отражают реальные соотношения между явлениями действительности, а отчасти представляют собою вымышленные зависимости между ними, существующие лишь в человеческом воображении» (Merton, 1968: 477). Отсюда феномен самоисполняющихся пророчеств: пророчества сбываются потому, что у людей вырабатываются новые образцы поведения, стимулирующие реализацию пророчества. Фальшивые негативные мифы России в историографии по своим последствиям сродни самоисполняющимся пророчествам – они способствуют такому развитию общества, которое соответствует этим мифам. Миф имманентно включает в себе опасность подтверждения. Таким образом, ошибочные исторические представления, овладевающие массами, стимулируют процесс возникновения самоисполняющихся сценариев, так как становятся движущей силой развития общества в соответствии с этим сценарием. Если россияне будут оптимистичнее оценивать свое прошлое и настоящее, верить, что оптимистический сценарий развития нашей страны – реальный, то именно этот сценарий и станет для нас реальным. И наоборот.

Современная наука пришла к выводу, что прошлое конструируется историками. Именно они формируют понимание прошлого, «заставляют» людей забывать одни события и хорошо запоминать другие, воспитывают морально-культурные традиции, национальное самосознание и национальное достоинство – словом, создают историю и образ страны. Поэтому и отечественным историкам следует, как и во всех «цивилизованных странах», создать свое позитивное прошлое, которое бы помогало нам повысить свою самооценку и благодаря этому успешнее двигаться вперед. Позитивный образ не означает фальшивый. Неадекватный фальшивый образ не выполняет свою конструктивную роль: шизофреник, воображающий себя Наполеоном, никогда не станет Наполеоном. Позитивный образ должен быть адекватным и объективным. И наша история дает для этого оснований и аргументов ничуть не меньше, чем история любой великой державы.

Л.Н. Мазур в своем отношении к клиотерапии противоречива. «Стремление автора сформировать позитивный образ имперской истории можно считать вполне реализованным, но это имеет весьма неоднозначные последствия» – включение в науку эмоций, редуцирование взгляда на исторические процессы до бинарной оппозиции «хорошо – плохо» и формирование исторического мифа. Однако любые научные результаты имеют эмоциональную составляющую. Даже физики и математики испытывают сильные чувства в процессе исследования. А. Эйнштейн считал критерием истины чувство эстетического удовольствия – осознание стройности, красоты, внутренней гармонии. Что говорить об историографии, насквозь пронизанной страстями?! «Образ науки, руководствующейся исключительно требованиями точности, истины, стерильной по отношению ко всему человеческому – к идеям, страстям, вкусам, – кажется мне во многом ложным. Применительно к наукам о культуре – в особенности! Человеческие истины всегда и неизбежно антропологичны. Помещаясь в человеческих головах, владея живыми сердцами, истина, направляющая людей на те или иные поступки, не может не окрашиваться эмоциями, целевыми установками и даже эстетическими тонами. И незачем рыдать над утратой ею “химически чистой” нейтральности, которой она никогда не обладала! Для того чтобы служить людям, истина, наука должны подышать их воздухом, пропитаться их стремлением и страстями. Худо, когда наука превращается в проститутку, но слепая девственность, страшась всего земного, – бесплодна. Я утверждаю, что история – наука пристрастная, что работать, не имея никаких симпатий и антипатий, увлечений, склонностей, даже предвзятых идей, историк, который изучает людей, действовавших в обществе, совершавших поступки и движимых мыслями и страстями, – не может» (Гуревич, 2004: 184). Вот что сказал А.Я. Гуревич по поводу пристрастности в науке и ее объективности – пожалуй, впервые так честно и ясно, – и я с ним полностью согласен.

Когда я говорю о новых мифах, я имею в виду не новые фальсификации и упрощенно «позитивные» или «негативные» оценки. Работать страстно или пристрастно в поисках истины – это не то же самое, что намеренно и страстно фальсифицировать свидетельства, подделывать документы, подтасовывать данные, поносить неразделяемые

точки зрения и исказить взгляды коллег. В современном информационном обществе миф – не фальсификация, а часть реальности, интерпретированная определенным образом, в соответствии с целями и интересами интерпретатора. Управляемая мифологизация – это технология конструирования и обновления смыслового поля в массовом сознании (Барт, 1994: 72–130; Миронов, 2015b: 723). И оптимистическая «Российская империя...» не содержит, как явствует из выступлений всех участников круглого стола, фальсификаций и упрощенных позитивных или негативных оценок и выводов. Так же могут работать другие исследователи объективно-оптимистической ориентации. Поэтому страхи фальсификации, на мой взгляд, сильно преувеличены. Первым делом – профессионализм исследователя, а его исторический оптимизм или пессимизм – потом. Сказанное является также ответом на предостережение В.В. Керова об опасности включения в отечественный научно-исторический дискурс «идеологической заданности». Настоящий профессионал всегда настороже.

Противоречиво относится к клиотерапии и А.Б. Лярский. В одних случаях он ее осуждает за искажение и упрощение реальности, в других – приветствует за преодоление локальности отечественной истории и возможность оценить историческую перспективу. В отличие от Л.Н. Мазур, он полагает, что эмоции полезны в историческом исследовании. Говоря о моей трактовке еврейской политики, которую в отличие от меня считает антисемитской, он пишет, что я не отказываюсь признать наличие дискриминационных мер. Но, встраивая их в большой контекст, «Б.М. Миронов нормализует процесс, демонстрируя его внутреннюю логику: введение черты оседлости – логично, поскольку интеграция еврейского населения не удалась». «Он убирает эмоциональный пафос, в полном согласии с духом “клиотерапии” минимизирует эмоциональную боль, а с ней и обличительный подтекст описания государственной дискриминации. А этого делать, на мой взгляд, не надо из соображений как раз терапевтических, поскольку обличение государственных машин с помощью истории – это один из механизмов минимизации опасности, исходящей от любого государства». Другими словами, эмоциональный пафос и клиотерапия в данном случае нужны для обличения государства, имманентно представляющего для общества опасность.

Называть этноконфессиональную политику правительства антисемитизмом, на мой взгляд, неадекватно. В современных словарях так называют одну из форм национальной нетерпимости, выражающейся во *враждебном отношении к евреям как этнической или религиозной группе*. В империи на бытовом уровне наблюдались антииудейские (но не антиеврейские!) настроения, причем главным образом в черте оседлости, в которую не входили великороссийские губернии. Они не имели этнической и расовой составляющей, не поддерживались государством и не являлись частью государственной политики. Некоторые меры, юридически ограничившие права иудеев, распространялись и на другие этносы, имели в своей основе не *конфессиональную или этническую подоплеку, а экономическую или политическую*. Поэтому, на мой взгляд, их неадекватно называть антисемитскими. В настоящее время термину имеет чрезвычайно негативную окраску и так сильно нагружен негативными смыслами, что я воздерживаюсь от его употребления в определении этноконфессиональной политики XVIII – начала XX в. К тому же термин «антисемитизм» вошел в оборот в Германии в 1860–1870-е гг., а в России еще позже. Его использование кажется мне презентизмом.

Моя трактовка еврейской политики как «непоследовательной, извилистой и многозначной» с позитивным трендом нашла поддержку у И.В. Поткиной. По ее мнению, «показанные и обобщенные Б.Н. Мироновым факты свидетельствуют о неуклонной либерализации правительственной политики в национальном вопросе». Думаю, одна из причин различной интерпретации состоит в том, что И.В. Поткина, в отличие от А.Б. Лярского, верит в творческую силу российского государства – в этом ее убедили собственные исследования истории предпринимательства и предпринимательского права Российской империи.

В трехтомнике приводится информация, свидетельствующая о несправедливости обвинений в адрес имперских властей, которые якобы из-за страха утраты контроля над подданными являлись главными врагами просвещения. По моему мнению, это один из необъективных негативных мифов. А.Б. Лярский возражает, полагая будто я игнорирую охранительные аспекты образовательной политики России. При этом тут же добавляет: «О чем и сам Б.Н. Миронов, разумеется, осведомлен». Действительно, как и в случае с

оценкой еврейской политики, я ничего не скрываю от читателя относительно политики в вопросе просвещения, но объясняю мотивацию ограничительных мер не злым умыслом, а стремлением удержать людей в их сословном положении, потому что власти считали разрушение сословного строя нарушением разумного порядка вещей. Иными словами, нормализую процесс просвещения. Но А.Б. Лярский жаждет обличений.

Л.М. Артамонова, напротив, полагает, что верховная власть была просвещенной «на всех этапах своей истории» и прежде всего в сфере просвещения. Она считает мифом представление об отрыве правительственной политики от интересов общества и общества от политики на протяжении всего императорского периода. В чем причины столь разительных оценок? Л.М. Артамонова в отличие от А.Б. Лярского не имеет априорного бессознательного страха перед государством, так как, изучая историю культуры, убедилась, что коронные власти действительно были поборниками просвещения.

В своем выступлении А.Б. Лярский не приводит исторических казусов, когда клиотерапия уместна. Но в статье по истории детского труда в начале XX в. он обосновывает целесообразность клиотерапии настолько правильно и искусно, что приведу его аргументы его собственными словами. «Когда современные исследователи говорят о детском труде, они часто находятся в плену наших собственных представлений о гуманности и месте ребенка в доходно-расходном балансе семьи. На мой взгляд, *мы крайне нуждаемся в неморальной истории детства.* <...> *Именно потому, что наше отношение к детству слишком морально, оно отрицает нормы и практики других эпох* (курсив мой. – Б.М.). Мы нуждаемся в истории детства, исходящей из того, что ребенок может быть нежелательной неизбежностью, что ребенок был рабочей силой и экономическим ресурсом и это – вовсе не “эксплуатируемое” или не “незамеченное” детство, а единственное детство, которое было. Но что же мы получим, если откажемся от морального взгляда на детство? Мы получим понимание того что труд ребенка поощрялся родителями, в поисках дохода для семьи пытавшихся пристроить детей на фабрики любыми путями; что фабриканты не лгали, когда говорили, что родители приводят детей сами. В случае нужды никакие законы, ограничивающие детский труд не могли остановить семью: давались взятки и “любой пристав в городе или урядник в деревне, а то и просто поп, с удовольствием за три рубля увеличивал годы рождения”. <...> Если же представить себе не крестьянскую, а городскую рабочую семью, то самый абстрактный арифметический подсчет показывает, что если в семье по каким-то причинам работал только отец, то выход на фабричную работу малолетнего сына увеличивает доход семьи на четверть, а подростковый заработок добавляет к доходной части половину прежнего дохода. Неудивительно, поэтому, что некоторые забастовки подростков на фабриках прекращались самими родителями: “родители некоторых из подростков избивали их за отказ идти работать, других насильно приводили к директору фабрики и умоляли, чтобы он их принял обратно”» (Лярский, 2015: 309–310).

Кажется, А.Б. Лярскому было бы логично сказать, что никакая необходимость, никакие аргументы не могут оправдать жестокую эксплуатацию детей, не совместимую с моралью и гуманизмом; детская дискриминация заслуживает всегда только самого строгого осуждения. А он говорит, что историография нуждается в «*неморальной истории детства*», иначе нам не получить адекватного представления о детстве.

То же самое делаю я – разделяю моральные оценки и объяснения, но не отказываясь в принципе от оценок, когда ищу функционалистские объяснения существования крепостного права, коррупции, антисемитизма, авторитаризма в семье и государстве, преступности, детоубийства, противоречий в политике просвещения и всякого рода «преступлениях царизма». Но в отличие от Лярского я последователен в своей клиотерапии, а он действует, по-видимому, по велению сердца. Получается, что критик не является сторонником клиотерапии только «в ее государственно-апологетическом изводе», поскольку имманентно и априорно негативно относится к государству, но поддерживает клиотерапевтический подход в других случаях, когда речь идет о частных интересах.

Отделять моральные оценки от объяснений, на мой взгляд, совершенно необходимо. Во-первых, сама моральная оценка зависит от объяснения, во-вторых, без объяснения останутся непонятными изучаемые факты, институты, явления и процессы. Поясню эту мысль на примере. Историка можно уподобить судье, выносящему приговор, который учитывает не только материальные последствия преступления, но и мотивы и обстоятельства его совершения. Так, за убийство в зависимости от причин преступного

деяния, степени тяжести и других обстоятельств Уголовный кодекс РФ предусматривает шкалу наказания от 2 лет условно до пожизненного заключения строжайшего режима. Человек, совершивший действия, повлекшие смерть человека по причине злого умысла, мести, в результате драки, приговаривается судом на заключение от 6 до 15 лет, за убийство с отягчающими обстоятельствами – от 8 лет до пожизненного, а за убийства, совершаемые в состоянии психологического срыва, – от 2 лет ограничения свободы (условный срок) до 5 лет. Аналогичным образом выносятся приговоры и за другие преступные деяния. И это справедливо!

А.Б. Лярскому не нужны мои функционалистские и психологические объяснения антиеврейских и других мероприятий правительства. Потому что объяснения предполагают смягчение наказания и минимизируют боль. Но на смягчение приговора он согласен для родителей, отдающих своих детей работать на фабрику (а между прочим отдавали и 4–5-летних!), но не согласен для государственных структур. Это все равно как если Уголовный кодекс предусматривал пожизненное заключение для всех преступлений, направленных против государства и общества без различия мотивов и обстоятельств, и в то же время предусматривал широкую шкалу наказаний для остальных видов преступлений.

Априорно-негативное отношение интеллигенции к государству мы уже проходили и тяжелые последствия этого знаем – террор, баррикады, революции, гражданская война (перечень последствий легко продолжить), а также противостояние общества государству как гражданская норма поведения. «Идейной формой русской интеллигенции, – считал Струве, – является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему. <...> В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка, как таковых. Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма» (Вехи, 1909: 160).

Таким образом, мой «государственно-апологетический» подход, по мнению критиков, заключается в том, что я последовательно объясняю политику верховной власти и ее правительства путем анализа ее мотивации, обстоятельств и условий ее выработки и проведения, не замалчивая ее негативных последствий, ошибок и издержек. На мой взгляд, это делать просто необходимо, чтобы политику адекватно понять и оценить. Благодаря этому мы осознаем, что российская бюрократия не была столь глупой и недалекой, как обычно изображается, что она действовала рационально и беспокоилась о благе народа в соответствии с теми представлениями о рациональности и народном благе, которые господствовали в свое время. Но в нашей литературе так давно и так глубоко въелась привычка поносить российское государство, что не требуется никаких аргументов для доказательств ее бездарности, близорукости, пренебрежения интересами народа и т. п., а любые аргументы в пользу государства считаются недостаточными и встречают критику.

Современные критики империи и царизма находятся в плену современных представлений о рациональности, моральности, гуманности, прогрессивности – они в плену того, что называется презентизмом. От верховной власти и бюрократии, от героев империи они требуют невозможного и иррационального (в соответствии с представлениями прошлого). Например, М.М. Сперанский превозносится за программу либеральных государственных преобразований, составленную в 1809 г. по поручению Александра I, на основе западных источников. Между тем было крайне опасно проводить либеральную реформу, задуманную М.М. Сперанским в начале XIX в., потому что ее реализация могла бы создать в России того времени огромные проблемы. Сам М.М. Сперанский впоследствии осознал опасность своего проекта, когда понял, что Россия еще не готова к конституционному строю. Он писал в 1819 г.: «Возможность законодательного сословия, сильного и просвещенного, весьма мало представляет вероятности. Посему одно из двух: или сословие сие будет простое политическое зрелище, или, по недостатку сведений, примет оно ложное направление». Не дворянская ли анархия XVII–XVIII вв., приведшая Польшу к гибели, виделась Сперанскому? Во всяком случае такой сценарий исключать было нельзя – декабристски мыслящих дворян даже в 1825 г. насчитывалось несколько сотен. Впрочем, если бы к власти пришли радикальные декабристы во главе с П. Пестелем, которые хотели установить диктатуру, едва ли новый режим стал прогрессивнее предыдущего (Мионов, 2015а: 705).

Подобно тому как от ребенка нельзя требовать, чтобы он вел себя как взрослый образованный человек, так и от элиты и народа XVIII–XIX вв. нельзя требовать, чтобы они

вели себя как просвещенные люди XXI в. Если правильно, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, то каждое правительство проводит именно ту политику, которая по большому счету устраивает большинство народа. Я смотрю на историю, в том числе российскую, как на естественный процесс эволюции общественных порядков, которые люди сознательно и бессознательно приспособливают к новым условиям существования и изменяющемуся человеку. По большому счету, все социальные институты, структуры и учреждения – функциональны и целесообразны – разумеется, по-своему, относительно, в рамках тех представлений о рациональности и народном благе, которые господствовали в свое время. Как только они утрачивают эти свойства, они изменяются, и историческая действительность становится иной. Всею свое время. Делай, что должно, и будет, что должно.

В заключение хотелось бы поблагодарить участников круглого стола за огромный труд, на который они себя обрекли, согласившись участвовать в этом мероприятии. Поблагодарить и за положительные оценки, и в меньшей степени за критику. И заслуженная похвала, и объективный анализ одинаково необходимы как для автора, так и для успешного развития любимой науки.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00119).

Литература

- Аргументы недели, 2016** – Аргументы недели. 2016. 18 авг. № 32 (523).
- Барт, 1994** – *Барт Р.* Миф сегодня // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 72–130.
- Бордюгов, Щербина, 2011** – *Бордюгов Г., Щербина С.* Транзит: социологический портрет сообщества // Научное сообщество России: 20 лет перемен / Г. Бордюгов (ред.). М.: АИРО-XXI, 2011. С. 122–176.
- Булдаков, 2010** – *Булдаков В.П.* Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 2010. 967 с.
- Бычкова, 2009** – *Бычкова В.М.* Некоторые моменты из истории преподавания Закона Божия в России // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Серия 4: Педагогика. Психология. 2009. Вып. 1 (12). С. 7–20.
- Вехи, 1909** – Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М.: И.Н. Кушнерев и К, 1909. 210 с.
- Власов, 2010** – *Власов С.А.* Очерки истории Владивостока. Владивосток: Дальнаука, 2010. 250 с.
- Гуревич, 2004** – *Гуревич А.Я.* История историка. М.: РОССПЭН, 2004. 283 с.
- Любарев, 2013** – *Любарев А.Е.* Активность избирателей на федеральных, региональных и муниципальных выборах в Российской Федерации // *НВ: Проблемы политики и общества.* 2013. № 8. С. 138–209.
- Лярский, 2015** – *Лярский А.Б.* История детства с точки зрения междисциплинарности: из практики исследования // Стены и мосты – III: История возникновения и развития идеи междисциплинарности / Г.Г. Ершова (отв. ред.). М.: Академический проект: Гаудеамус, 2015. С. 307–315.
- Мазур, 2012** – *Мазур Л.Н.* Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX – начало XX в.). Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2012. 471 с.
- Мазур, Бродская, 2006** – *Мазур Л.Н., Бродская Л.И.* Эволюция сельских поселений Среднего Урала в XX веке: опыт динамического анализа. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. 563 с.
- Матецкая, 2006** – *Матецкая А.В.* Социология культуры: учебное пособие. 2006. Ростов/Д: Феникс, 2006. 260 с. URL: <http://yourlib.net/content/view/306/16/> (дата обращения: 24.08.2016).
- Мионов, 1984** – *Мионов Б.Н.* Историк и социология. Л.: Наука, 1984. 174 с.
- Мионов, 1990** – *Мионов Б.Н.* Русский город в 1740–1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л.: Наука, 1990. 271 с.
- Мионов, 1991** – *Мионов Б.Н.* История в цифрах: Математика в исторических исследованиях. Л.: Наука, 1991. 167 с.

- [Миронов, 2012](#) – *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. 2-е изд. испр., доп. М.: Весь мир, 2012. 848 с.
- [Миронов, 2013](#) – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.
- [Миронов, 2014](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.
- [Миронов, 2015a](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.
- [Миронов, 2015b](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- [Морозова, Поткина, 1998](#) – *Морозова Т.П., Поткина И.В.* Савва Морозов. М.: Русская книга, 1998. 205 с.
- [Поткина, 2004](#) – *Поткина И.В.* На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура Морозовых, 1797–1917. М.: Изд-во Главархива Москвы, 2004. 383 с.
- [Поткина, 2009](#) – *Поткина И.В.* Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX – первая четверть XX в. М.: НОРМА, 2009. 302 с.
- [Прей, 2010](#) – *Прей Э.Л.* Письма из Владивостока, 1894–1930. 2-е доп. и испр. изд. Владивосток: Рубеж, 2010. 462 с.
- [Термен, 1914](#) – *Термен А.И.* Воспоминания администратора: Опыт исследования принципов управления инородцев. Пг.: Тип. Сапер, 1914. 20 с.
- [Федоров, 1913](#) – *Федоров Г.П.* Моя служба в Туркестанском крае (1870–1906 г.) // Исторический вестник. 1913. Т. 134, № 10. С. 33–55; № 11. С. 437–467; № 12. С. 860–893.
- [Ядов, 2003](#) – *Ядов В.А.* Стратегия социологического исследования. М.: Академкнига: Добросвет, 2003. 596 с.
- [Merton, 1968](#) – *Merton R.K.* Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968. 702 p.
- [Statistical Abstract..., 1915](#) – Statistical Abstract Relating to British India from 1903–04 to 1912–13. Forty-eighth number. London: His Majesty's Stationary Office, 1915.

References

- [Argumenty nedeli, 2016](#) – Argumenty nedeli [Arguments of the week]. 2016. 18 avgusta. Nr 32 (523) [in Russian].
- [Bart, 1994](#) – *Bart R.* Mif segodnya [Myth today] // *Bart R.* Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika [Selected works: Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress, 1994, pp. 72–130 [in Russian].
- [Bordyugov, Shcherbina, 2011](#) – *Bordyugov G., Shcherbina S.* Tranzit: sotsiologicheskii portret soobshchestva [Transit: a sociological portrait of a community] // Nauchnoe soobshchestvo Rossii: 20 let peremen [Scientific community of Russia: 20 years of change] / G. Bordyugov (red.). Moscow: AIRO-XXI, 2011, pp. 122–176 [in Russian].
- [Buldakov, 2010](#) – *Buldakov V.P.* Krasnaya smuta: Priroda i posledstviya revolyutsionnogo nasiliya [Red trouble: the nature and consequences of revolutionary violence]. Moscow: ROSSPEN, 2010. 967 p. [in Russian].
- [Bychkova, 2009](#) – *Bychkova V.M.* Nekotorye momenty iz istorii prepodavaniya zakona [Some highlights from the history of teaching the law of God in Russia] // Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo un-ta. Seriya 4: Pedagogika. Psikhologiya [Herald of Orthodox St. Tikhon humanitarian university. Series 4: Pedagogy. Psychology]. 2009. Vyp. 1 (12), pp. 7–20 [in Russian].
- [Fedorov, 1913](#) – *Fedorov G.P.* Moya sluzhba v Turkestanskom krae (1870–1906 gg.) [My service in Turkestan (1870–1906)] // Istoricheskii vestnik [Historical journal]. 1913. T. 134, nr 10, pp. 33–55; nr 11, pp. 437–467; nr 12, pp. 860–893 [in Russian].
- [Gurevich, 2004](#) – *Gurevich A. Ya.* Istoriya istorika [The history of the historian]. Moscow: ROSSPEN, 2004. 283 p. [in Russian].
- [Lyarskii, 2015](#) – *Lyarskii A.B.* Istoriya detstva s tochki zreniya mezhdistsiplinarnosti: iz praktiki issledovaniya [The history of childhood from the point of view of the interdisciplinarity: of research practices] // Steny i mosty – III: Istoriya vznikeniya i razvitiya idei mezhdistsiplinarnosti [Walls and bridges – III: History of the origin and development of the idea of interdisciplinarity] / G.G. Ershova (red.). Moscow: Akademicheskii proekt: Gaudeamus, 2015, pp. 307–315 [in Russian].

Lyubarev, 2013 – *Lyubarev A.E.* Aktivnost' izbiratelei na federal'nykh, regional'nykh i munitsipal'nykh vyborakh v Rossiiskoi Federatsii [Voter turnout at Federal, regional and municipal elections in the Russian Federation] // NB: Problemy politiki i obshchestva [NB: Problems of politics and society]. 2013. Nr 8, pp. 138–209.

Matetskaya, 2006 – *Matetskaya A.V.* Sotsiologiya kul'tury: uchebnoe posobie [The sociology of culture: textbook]. Rostov-na-Donu: Feniks, 2006. 260 p. [in Russian].

Mazur, 2012 – *Mazur L.N.* Rossiiskaya derevnya v usloviyakh urbanizatsii: regional'noe izmerenie (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.) [Russian village in the context of urbanization: the regional dimension (second half of the 19th – early 20th centuries)]. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta [Publishing house of the Ural State University], 2012. 471 p. [in Russian].

Mazur, Brodskaya, 2006 – *Mazur L.N., Brodskaya L.I.* Evolyutsiya sel'skikh poselenii Srednego Urala v XX veke: opyt dinamicheskogo analiza [Evolution of rural settlements of the Middle Urals in the 20th century: the experience of dynamic analysis]. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta [Publishing house of the Ural State University], 2006. 563 p. [in Russian].

Merton, 1968 – *Merton R.K.* Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968. 702 p.

Mironov, 1984 – *Mironov B.N.* Istorik i sotsiologiya [Historian and sociology]. Leningrad: Nauka, 1984. 174 p. [in Russian].

Mironov, 1990 – *Mironov B.N.* Russkii gorod v 1740–1860-e gody: demograficheskoe, sotsial'noe i ekonomicheskoe razvitie [Russian city in the 1740–1860s: demographic, social and economic development]. Leningrad: Nauka, 1990. 272 p. [in Russian].

Mironov, 1991 – *Mironov B.N.* Istoriya v tsifrakh: Matematika v istoricheskikh issledovaniyakh [The history in numbers: Mathematics in historical research]. Leningrad: Nauka, 1991. 167 p. [in Russian].

Mironov, 2012 – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-Being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2012. 848 p. [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nравy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: Mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Morozova, Potkina, 1998 – *Morozova T.P., Potkina I.V.* Savva Morozov. Moscow: Russkaya kniga, 1998. 205 p. [in Russian].

Potkina, 2004 – *Potkina I.V.* Na Olimpe delovogo uspekha: Nikol'skaya manufaktura Morozovykh, 1797–1917 [On the Olympus of business success: Nikolskaya manufaktura Morozov, 1797–1917]. Moscow: Izdatel'stvo Glavarkhiva Moskvyy, 2004. 383 p. [in Russian].

Potkina, 2009 – *Potkina I.V.* Pravovoe regulirovanie predprinimatel'skoi deyatel'nosti v Rossii: XIX – pervaya chetvert' XX v. [Legal regulation of entrepreneurial activity in Russia: the 19th – the first quarter of the 20th centuries]. Moscow: NORMA, 2009. 302 p. [in Russian].

Prei, 2010 – *Prei E.L.* Pis'ma iz Vladivostoka, 1894–1930 [Letters from Vladivostok, 1894–1930]. 2nd ed. Vladivostok: Rubezh, 2010. 462 p. [in Russian].

Statistical Abstract..., 1915 – Statistical Abstract Relating to British India from 1903–04 to 1912–13. Forty-eighth number. London: His Majesty's Stationary Office, 1915.

Termen, 1914 – *Termen A.I.* Vospominaniya administratora: Opyt issledovaniya printsipov upravleniya inorodtsev [Administrator's memories: A study of the principles of management of inorodtsi]. Petrograd: Tip. Saper, 1914. 20 p. [in Russian].

Vekhi, 1909 – *Vekhi.* Sbornik statei o russkoi intelligentsii [Milestones: Collection of articles about the Russian intelligentsia]. 2nd ed. Moscow: I.N. Kushnerev, 1909. 210 p. [in Russian].

Vlasov, 2010 – *Vlasov S.A.* Ocherki istorii Vladivostoka [Essays on the history of Vladivostok]. Vladivostok: Dal'nauka, 2010. 250 p. [in Russian].

Yadov, 2003 – Yadov V.A. Strategiya sotsiologicheskogo issledovaniya [The strategy of sociological research]. Moscow: Akademkniga: Dobrosvet, 2003. 596 p. [in Russian].

УДК 94(47)

Нужна ли россиянам клиотерапия?

Борис Николаевич Миронов ^{a, b, *}

^a Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, Российская Федерация

^b Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. Автор дает подробные ответы на замечания, высказанные всеми восемнадцатью участниками круглого стола в ходе дискуссии, развернувшейся вокруг его книги «Российская империя: от традиции к модерну». В статье ведется принципиальная полемика по многим вопросам, затронутым в книге. Среди них методология и методика, в частности использование разнообразных исследовательских стратегий, применение сравнительно-исторического подхода, междисциплинарность, макро- и микроанализ, поиск закономерностей, роль концепций, соотношение эмпирического и аналитического в исследовании. Много внимания уделено спорным аспектам этноконфессиональной политики, менталитета и исторической психологии, нерешенным вопросам крепостного права и колонизации, культурного капитала и политики в области просвещения, самоуправления и гражданского общества. Важное место в статье заняла дискуссия относительно специфики российской модернизации и по вопросам мифотворчества, исторического оптимизма и клиотерапии.

Ключевые слова: гражданское общество; историческая психология; клиотерапия; колонизация; крепостное право; культурный капитал; менталитет; методология и методика; мифотворчество; исторический оптимизм; просвещенный абсолютизм; Российская империя; самоуправление; специфика российской модернизации; этноконфессиональная политика.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: bmironov@mail.wplus.net (Б.Н. Миронов)